

*На великом
историческом
перепутье*

D
727
K558
2006

В. Ключников

Ю.В. КЛЮЧНИКОВ

**НА ВЕЛИКОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ
ПЕРЕПУТЬЕ**

2-е издание



Москва
«Вузовская книга»
2006

ББК 66.1(2)6

К52

Ключников Ю.В.

К52 На великом историческом перепутье / Ю.В. Ключников; Сост. О.А. Воробьев. — М.: Вузовская книга, 2006. — 198 с.

ISBN 5-9502-0178-7

Одно из канонических сменовеховских произведений, долгое время малодоступное для отечественных читателей и исследователей. С точки зрения национал-большевистских установок в популярной форме рассматривается политика Германии Вильгельма II, Америки Вильсона и России Ленина. Производится социально-этический анализ мировых проявлений консерватизма, либерализма и советского коммунизма. Впервые издана профессором Ю.В. Ключниковым (1886—1938) в 1922 году как приложение к журналу «Смена Вех». В приложении цитируются выдержки из документов, хранящихся в коллекции Н.В. Устрялова Архива Гуверовского Института войны, революции и мира при Стэнфордском университете в Калифорнии (США).

Может быть полезной при изучении становления советского тоталитаризма на примере сменовеховского течения русской эмиграции. В России публикуется впервые.

Для специалистов и всех интересующихся современной историей, политикой и международным правом.

ББК 66.1(2)6

ISBN 5-9502-0178-7

© Воробьев О.А., составление, 2000

© Оформление. «Вузовская книга», 2000

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Имеющиеся сведения о Юрии Вениаминовиче Ключникове (1886–1938), авторе изданной в 1922 году в Берлине книги «На великом историческом перепутье», позволяют говорить о нем как о разносторонне образованном, талантливом и необычайно пылком, увлеченном человеке. Специалист в области международного права, профессор, публицист, член Партии Народной Свободы, близкий друг и соратник известного политика-сменовеховца Н.В. Устрялова, управляющий министерством иностранных дел при Директории и Колчаке, в 1919 году посланный Омским правительством представлять на Версальской мирной конференции, — этот незаурядный человек был не чужд и определенного революционного романтизма. В 1921 году Ключников — один из авторов и главный организатор пражского сборника «Смена Вех», переросшего позднее в одноименный парижский журнал, издававшийся под неизменной редакцией Ключникова вплоть до весны 1922 года¹. В марте 1922 году вместе с Ю.Н. Потехиным в качестве соредактора он организует продолжение еженедельника «Смена Вех» — ежедневную берлинско-московскую газету «Накануне» (в начале 1918 года Ю.В. Ключников совместно с товарищами по партии Н.В. Устряловым и Ю.Н. Потехиным принимал участие в московском кадетском еженедельнике с тем же названием).

Привлеченный с санкции В.И. Ленина к работе Генуэзской конференции в качестве советского эксперта (впрочем, его экспертирование свелось в основном к игре на скрипке в компании с Чичериным), Ключников окончательно заражается коммунистическими идеями и принимает решение возвратиться в Россию, для чего получает советское подданство. О степени вовлеченности Ключникова во внутрисоветские отношения говорит и тот факт, что две его статьи были приняты к печати в официальной «Правде». В июне 1922 г. в качестве спец-

¹По словам редактора журнала «Новая Россия» («Россия») и левого сменовеховца И.Г. Лежнева (Альшулера), «физиономия группы выявилась в гораздо большей мере в еженедельнике «Смена Вех», чем в сборнике...» (Новая Россия. 1922. №1. С.61.). В дальнейшем, как отмечал адвокат-сменовеховец А.В. Бобрищев-Пушкин, «деятельность нововеховцев натолкнулась на враждебность со стороны белоэмигрантской контрреволюции и местных властей Французской республики, что привело к необходимости перевода редакции в Берлин, где проживала основная масса рядовой интеллигенции» (Бобрищев-Пушкин: А.В. Патриоты без отечества. Л., 1925. С.117–118.).



кора «Накануне» Юрий Вениаминович в компании Ю.Н. Потехина посещает Советскую Россию и Украину, с неизменным успехом читая лекции о перспективах сменовеховского движения.

Это было время кажущегося расцвета нововеховства. Госиздат переиздает сборник «Смена Вех» в Твери и Смоленске, и его многотысячные тиражи успешно раскупаются несмотря на довольно высокую цену (за рубежом сборник стоил 8 французских франков, в России — 250000 рублей). Параллельно с этим в Петрограде под редакцией сменовеховца Исаия Альтшулера начинает выходить журнал «Новая Россия» («Россия»). Многие эмигрантские газеты и журналы приобретают сменовеховский оттенок (особенно ярко — «Путь», «Новый Путь», «Новости Жизни», «Новая Русская Книга», «Русская Жизнь», «Окно» и др.). Сменовеховцы участвуют в диспутах, читают лекции, набирает силу процесс «возвращенчества».

В августе 1923 г. Ключников окончательно возвращается в СССР. В Москве он получает предложение возглавить «кабинет» международной политики в Социалистической Академии (в должности «замзава»), место консультанта в НКВД, хорошую квартиру на Петровке, возможность печататься², читать лекции в университете, выезжать за границу³ и... окончательно подрывает собственную репутацию как в глазах эмигрантов, так и среди большевистского руководства, превратившись со временем, словами его друга Устрялова, в «коммуноида». Еще в 1922 г., пользуясь чередой спор и скандалов, Ключникова оттирают от непосредственного участия в редактировании «Накануне», которая скатывается на откровенно просоветские позиции и теряет тираж, что в свою очередь приводит к прекращению Москвой (Сталин, Крестинский) финансирования этого издания⁴.

Деятельность Ключникова на протяжении следующих 10 лет нельзя назвать слишком заметной, если не считать выпущенные под его редакцией в 1925–26 гг. тексты мирных

² См., например, его статьи в московском журнале «Международная жизнь», интервью газете «Известия». Ключников также выступал и на диспутах (см.: Судьбы русской интеллигенции: Материалы дискуссий 1923–1925 гг. — Новосибирск, 1991). Кроме того он получил должность и спецкора журнала «Огонек».

³ Вскоре после своего возвращения в страну в 1923 г. Ключникова командировуют в Швейцарию со спецзаданием.

⁴ 24 августа 1924 г. на заседании Политбюро был заслушан вопрос о ликвидации коммерческих отношений с газетой с наименьшими расходами денежных средств и со взятием всех активов «Накануне».

договоров, относящихся к 1-й мировой войне, а также его работу в качестве эксперта по международному праву. Согласно постановлению «Особого Совецания» от 25 февраля 1934 г. за «антисоветскую агитацию» Ключникова высылают на 3 года в Карелию. 5 ноября 1937 г. его вновь арестовывают и 10 января 1938 г. приговаривают уже за «шпионско-террористическую деятельность» к расстрелу. Похожая участь постигла несколько ранее и других участников сборника «Смена Вех» Н.В. Устрялова и А.В. Бобрищева-Пушкина, расстрелянных в 1937 г.

Ниже читателю предоставляется возможность ознакомиться с обширным международно-правовым манифестом сменовехизма, проникнутым истинным духом пореволюционной эпохи. Очерк по истории интеллигенции, выполненный Ключниковым в виде пяти лекций, выдержан в национал-большевистском ключе и отстаивает идеи мессианского призвания русской революции. Вот одно из заключительных резюме Ключникова: «Почему не допустить, что именно России и только одной России выпадет на долю излечить мир от всех социальных зол капиталистического строя?.. Не вполне неправы поэтому те, кто старается вскрыть элементы славянофильства в политических и социальных взглядах Ленина...»

Подобные мысли, характерные для всего сменовеховского движения (одно время лишь Устрялов пытался, судя по всему — тактически, им оппонировать), позволяют сделать вывод о заложенной в «Смене Вех» подлинно славянофильской идеологии, одним из главных выразителей и распространителей которой по праву является профессор Коммунистической Академии Юрий Вениаминович Ключников.

О.А.Воробьев

Посвящаю эту книгу дорогому другу

Николаю Васильевичу

Устрялову

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собою пять лекций по социологии международных отношений. Две последние лекции, посвященные России и Ленину¹, входили в курс «Истории русской политической мысли», прочитанный мною в Париже в июне 1920 года (в числе других курсов, прочитанных русскими профессорами от имени «Русской Академической Группы»). Вторая и третья лекции о Германии и империализме, Америке и федерализме составляют развитие мыслей, изложенных мною в книге «Интернационализм. — Основные вопросы международных отношений», изданной в самом начале 1918 г., а также — в обширном докладе о «Программах мира», прочитанном мною в Московском Юридическом Обществе 10-го февраля 1918 г.

Окончательный текст всех пяти лекций составлен в ноябре 1920 г. Теперь, печатая его, я внес в него лишь несколько чисто внешних, несущественных исправлений и дополнений; например, превратил лекции в главы.

Полностью — да и то не совсем — мне удалось прочесть эти мои лекции лишь дважды: 18 и 23 мая 1921 года в Париже в Salles des Sociétés Savantes² (по-русски) и 30 и 31 августа того же года в Université Internationale³ в Брюсселе (по-французски).

Две идеи я считаю основными в своем исследовании: идею *самостоятельного социально-этического значения Политики* наряду с Моралью и Правом и идею *Мировой Политики*. Все остальное является выводом из этих идей, применением и иллюстрацией.

Чисто теоретическая в своем основном задании, предлагаемая книга преследует и практические цели: — помочь читателю в понимании современного мирового положения и дать ему некоторые новые руководящие линии для его политических оценок. Я не скрываю от себя, что двойственность заданий книги сильно препятствует безукоризненному выполнению каждого из этих ее заданий. Для теоретического труда она недостаточно научна по методу и по форме изложения, для актуального очерка она далеко отстала от живой злобы сегодняшнего дня. К тому же с самого начала я решил не высказывать своих личных политических симпатий, опасений или надежд в большей степени, чем то допускает объективность изложения. Лыщу себя, однако, надеждой, что и при всех своих недостатках книга моя способна принести пользу и вызвать к себе интерес. В частности, я был бы вполне удовлетворен, если бы при ее посредстве мои современники хоть немного более приобрели вкуса к систематическому анализу политических явлений и взаимоотношений. Политическая точка зрения, как все вообще людские точки зрения, условна и относительна. Это несомненно. Но для меня несомненно также и то, что в области политики именно чисто политическая точка зрения представляется наиболее соответствующей предмету. С другой стороны, я был бы еще более удовлетворен, если бы мне удалось укрепить мысль, что при известных объективных условиях *революция становится наиболее естественным и наиболее благотворным социальным состоянием*. К международной жизни это относится в такой же степени, как и к жизни национальной. Мировая революция не плод испуганного воображения одних и не результат извращенной политической воли других. Она каждую минуту может стать реальностью, если только она уже не стала реальностью. Сейчас, в марте 1922 года, мне по ходу событий это еще яснее, чем в мае и июне 1920-го года. Избавить от нее человечество может лишь быстрая, энергичная, искренняя и талантливая эволюция, которая гладко и планомерно выполнила бы все то, что жизнь стремится завоевать себе в бурных и кровавых приступах политического экстремизма.

Случайно появление этой моей книги совпадает приблизительно с созывом уже и сейчас знаменитой Генуэзской Конференции⁴. Там, в Генуе разрешится вопрос: *мировая эволюция или мировая революция*. Ждать уже совсем недолго. Но если ответ будет дан неправильный, если нужные уступки духу времени и прогрессу там не будут сделаны, то как долго придется человечеству исправлять свою новую ошибку и в каких тяжелых формах будет неизбежно происходить ее исправление!

Автор.

Берлин, 21 марта 1922 года.

НА ВЕЛИКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРЕПУТЬЕ.

I

Общий исторический процесс складывается из бесконечного количества частных процессов и обусловлен бесконечным количеством причин. Если бы даже оказалось возможным проследить действие каждой из этих причин в отдельности, то нет такого человеческого разума, который был бы в состоянии исчислить действие всех их вместе.

Однако, дело не только в ограниченности наших познавательных способностей. Значительно важнее то обстоятельство, что люди призваны одновременно и *осознавать* исторические события, и участвовать в них, *создавать* их. Между тем, с их логикой и привычками, с их удивительным даром поступать вопреки всякой логике и всяким привычкам, *люди представляют собой историческую силу в высшей степени непостоянную и неопределенную.*

Им не удастся воздействовать планомерно на ход истории даже тогда, когда они сознательно стремятся к этому. Воля одного народа наталкивается на волю другого. Отдельные лица и группы лиц строят планы, разбиваемые затем действиями других лиц и групп. В результате же получается какая-то загадочная равнодействующая сил и действий, совершенно независимая ни от какой человеческой воли. И, как бы это ни показалось странно, приходится утверждать, что *общий исторический процесс противоречив, — иррационален, — главным образом, благодаря человеку.*

Но он не только иррационален, этот исторический процесс. Он еще и глубоко трагичен. Трагичен в меру своей иррациональности. Следовательно, и это также, главным образом, благодаря человеку.

Если надежды на светлое будущее человечества не напрасны, если вера в прогресс не есть простое суеверие,

нужно, чтобы история стала как можно более планомерной, рациональной. А для этого в свою очередь *совершенно необходимо, чтобы вмешательство человеческой воли в ход исторических событий сделалось насколько возможно организованным.*

Такова проблема.

В более или менее нормальных условиях политической жизни немногие, пожалуй, захотели бы спешить с разрешением этой проблемы. Но мы живем в условиях исключительных, — печальное наследие недавней мировой войны.

Война эта уничтожила миллионы людей, исчерпала накопленные веками запасы, разрушила весь привычный уклад жизни. У людей создалась совершенно новая психология. То, что принято было считать несокрушимым, вдруг рассыпалось в прах. Те, кого вчера еще все принимали за кучку беспочвенных фантазеров, сегодня держат в ужасе одну часть человечества и внушают симпатию, а то и восхищение, другой его части. Никогда еще правительства не действовали так ощупью или под влиянием причин преходящих и ничтожных, как они действуют теперь. Никогда еще плоды их хитросплетений не были так убоги. Все солидные международные связи порвались. Страшный хаос охватил мир и грозит усиливаться еще больше, если тотчас же не будут найдены героические средства против него.

Однако, не будем с самого начала запугивать себя. Нет ничего самого ужасного, что не имело бы своих положительных сторон. Есть свои положительные стороны и у современного хаоса. Уничтожив или ослабив все социальные и политические силы, он сделал так, что даже наиболее ничтожные из сил могут, при случае, играть крупную историческую роль. Поэтому и человеческий разум, как бы беспомощен ни был он до сих пор, может превратиться, чрез современный хаос, в главнейшую из движущих сил исторического прогресса. Да, наконец, если всякий хаос рождается из недостатка разума, кому же и преодолевать его, если не разуму?

Так или иначе, но немедленное вмешательство наше в ход событий, *организованное и покоящееся на твердо выработанном плане*, есть условие, вне которого невозможно

преодолеть жуткий современный хаос. С другой стороны, таков — единственный путь для оправдания недавней мировой войны, стоившей человечеству неисчислимых жертв и не давшей ему в замен ни одной бесспорной выгоды. Ценою этих жертв человечество получило впервые за все свое существование не только возможность, но и обязанность сознательно и властно управлять своими судьбами. Ныне, легче, чем когда либо, общий исторический процесс может стать ясным, логичным и творческим. Именно теперь, в итоге мировой войны, мы можем из слуг исторического хаоса превратиться в носителей исторического разума.

Все теперь зависит от нас самих и, быть может, только от нас самих.

Разумеется, сразу сделать историю рациональной — задача отнюдь не простая.

Во-первых, нужно, чтобы существовали определенные законы социальной жизни, которые обеспечивали бы самую возможность разумной истории. Во-вторых, законы эти должны быть таковы, чтобы люди оказались в состоянии не только постичь их, но и приспособить к их требованиям все свое дальнейшее поведение.

Таким образом, пред нами возникают два вопроса:

Существует ли социальная закономерность?

— И затем:

Можем ли мы достаточно радикально изменить нашу манеру вмешиваться в ход событий?

На оба эти вопроса следует ответить в *положительном* смысле. — Социальные законы, несомненно, существуют, — с некоторыми из них нам все время придется иметь дело в дальнейшем изложении. Вместе с тем, есть полная надежда, что знание этих законов значительно поможет людям в области их взаимных отношений делать в будущем лишь то, что им надлежит делать.

Изучая социальные законы, следует с самым серьезным вниманием отнестись к *социальной динамике* и к тем силам, что имеются в ее распоряжении. Нас лично эти силы будут интересовать в первую очередь и, быть может, исключительно.

Что это за силы?

В виду важности причин экономического порядка для установления и направления социальных отношений, чрезвычайно соблазнительно принимать их за *единственную* первооснову всех изменений в общественной жизни людей и всего общественного прогресса. Однако, такой социологический монизм наталкивается на весьма серьезные возражения. Экономические факторы не действуют непосредственно. Чтобы начать определять поведение людей, они предварительно должны пройти через их сознание и *pretвориться в идеи и правила, в цели и программы*. С этого момента открывается область социальных причин и следствий — *совершенно новая и автономная*. Это — область сил «духовных» или «психических»; тех самых, что непременно должны проявляться всякий раз, когда *творчески преодолевается механичность общественных явлений* и на смену привычному появляется нечто новое. Всякий общественный прогресс — *их монополия*. *Динамика общественной жизни всецело обязана своим существованием динамике человеческого духа*.

В качестве процессов нашего сознания и нашей воли духовные причины общественных явлений заполняют собой широкую область побуждений, целей и действий *этических*. Назовем ее поэтому просто *этической областью* или *этической сферой*, пользуясь термином, ставшим уже привычным.

Этическая сфера в свою очередь распадается на три главнейших более узких сферы; на мораль, на право и на политику.

С этой точки зрения всякое общественное явление, способное внести изменение в формы и существо наличных общественных отношений, непременно представляет собой либо явление *морального* порядка, либо явление *правовое*, либо *политическое*. Чаще же всего оно является и тем, и другим, и третьим одновременно, но только в разных пропорциях. Говоря другими словами, *Мораль, Право и Политика образуют одновременно и те три основные формы, в которых выражается всякий социальный прогресс и ту троицу основных сил, которыми он пользуется для всех целей и во всех своих достижениях*.

Обычно внимание обращается только на Мораль и на Право. Многочисленные руководства по теории права и трактаты по этике подробно излагают все, что их касается порознь и обоих вместе. Иначе обстоит дело с Политикой. Есть, правда, немало теоретических исследований по политике, и в большинстве из них главы об отношении политики к морали и праву занимают почетное место. Однако, даже в наиболее глубоких из этих исследований тщетно было бы искать удовлетворительного описания или обоснования своеобразной *социальной природы* Политики и ее своеобразных *социальных функций*! А между тем, полное *неумение понять и оценить социальное значение политики составляет такой пробел в современной общественной науке и в современном общественном сознании, благодаря которому в совершенно искаженном свете выступают не только сама Политика, но и вся Мораль, и все Право*. Дебри исторически-иррационального оказываются гораздо гуще, чем могли бы быть...

Напротив, достаточно поставить Политику в один этический ряд с Моралью и Правом и придать ей одинаковое с ними по важности этическое значение, как сразу многое в социальной жизни людей становится несравнимо яснее.

Мысль социолога должна идти по следующему пути:

— Человеческое общество требует во всякое время своего существования норм тройкого порядка. Назначение одних из них заключается в том, чтобы закреплять и отражать *наиболее постоянное и наименее изменяемое* в данной общественной организации. Это — те нормы, что наименее зависят от времени и от обстоятельств и что почти всегда имеют претензию вовсе не зависеть от них. Это — нормы «абсолютные», выдержавшие испытание веков, — «вечные» — наиболее общие и принимаемые за наиболее возвышенные и священные. К сожалению, эти абсолютные и вечные нормы, только разве в вечной жизни и могут удовлетворять одни всем социальным требованиям; — одни, без всякой посторонней помощи. Напротив, в жизни земной людям на каждом шагу требуются такие нормы, которые позволяли бы создавшемуся положению сохраняться лишь *в течении того или иного периода*. Пусть это создавшееся положение отнюдь, не безусловно; пусть справедливость,

на которой оно покоится, весьма и весьма относительна. Если только при данных обстоятельствах положение это — при всех своих недостатках — есть лучшее из всех возможных, то несомненно справедливо, чтобы оно продолжало поддерживаться некоторое время и впредь. А так как с помощью чисто абсолютных норм нельзя осуществлять относительную, условную и временную справедливость, то потребность социальной жизни в нормах иного порядка, чем абсолютные, становится очевидною.

Что же это за нормы?

Раз их задача заключается в том, чтобы закреплять и отражать справедливость относительную, то должно быть ясно с самого начала, что нормы этого второго порядка не могут быть ни настолько «святыми», ни настолько прочными и независимыми от эпохи, что предыдущие. Нет; это — как раз нормы, пригодные лишь в известный исторический период и требующие замены или отмены, как только историческая обстановка существенно изменилась.

Но изменения исторической (и социальной) обстановки происходят не только из эпохи в эпоху и из периода в период. Они происходят изо дня в день, каждую минуту, большею частью с трудом замечаемые. *Эти постоянные и мгновенные изменения подчиняются, в свою очередь, известной справедливости и управляются своим особым этическим началом.* Разумеется, проявляющаяся здесь справедливость не является ни вечной, ни даже рассчитанной на известный срок или на некоторые общие случаи. Это — *справедливость отдельного неповторяемого случая, справедливость момента.*

Что касается предписаний или норм этого последнего, третьего типа, то их очень трудно устанавливать, так как они изменчивы и капризны точь-в-точь в той же степени, что и явления, этический смысл которых они выявляют. Несмотря на это, они не менее необходимы в общественной жизни людей, чем все остальные.

Взятые в качестве трех особых порядков этических норм, все только что описанные нормы суть не что иное, как Мораль, Право и Политика в их наиболее резком отличии друг от друга.

Таким образом, дело Морали — удовлетворять потребностям социальной жизни в нормах абсолютных или

кажущихся абсолютными. Право удовлетворяет ее потребности в нормах поведения, применимых в течение некоторого периода, определенного или неопределенного. Наконец, Политика стремится отразить то, что есть справедливого в каждом совершенно индивидуальном стечении обстоятельств и что с трудом может быть представлено в форме определенного правила.

Пожалуй, с наибольшей отчетливостью можно усвоить себе социальное назначение Морали, Права и Политики в том случае, если проследить его применительно к двум основным социологическим категориям: *категории справедливости и категории времени.*

Действительно, всякое социальное явление выступает с одной стороны, как некая (положительная или отрицательная) *эманация справедливости*, а с другой стороны, как известная *функция длительности времени.*

Иначе говоря, социальные явления стремятся одновременно и реализовать то или иное благо, и отметить очередной этап в историческом процессе, развивающемся во времени и чрез посредство времени.

В свете чисто философского анализа между Справедливостью и Временем выступает глубоко знаменательное соотношение. Находясь в двух различных метафизических планах — первая в плане «долженствования», вторая в плане «бытия», — и Справедливость и Время живут одной общей жизнью и выполняют одно общее конечное назначение. Только взятые вместе они вполне понятны. Только друг в друге они вполне раскрывают свою сущность. — Время в широком смысле охватывает: вечность, время в узком смысле (т.е. в смысле длящихся периодов) и момент. Справедливость, в свою очередь, выступает то как справедливость вечная или вневременная, то как относительная справедливость на известный промежуток времени и в известных условиях, то, наконец, как справедливость отдельного индивидуального случая, отдельного конкретного момента, который не повторяется и не допускает обобщения.

Так вот: *Мораль есть область такого справедливого или должного, которое воспринимается как вечное,*

вневременное или абсолютное; — Право есть справедливое и должное на известный период времени и в известных конкретных условиях; — Политика же это этически совершенно необходимая область справедливого и должного в момент и для момента.

Это то, что я писал в 1918 г. в своей книге «Интернационализм» («Основные вопросы теории международных отношений»): «Если этические начала связаны с историей мироздания и входят в нее, то можно, наверное, установить, что трем основным выражениям бытия — вечности, времени и моменту — в этическом ряду соответствуют нравственность, право и политика» (с. 81).

Все различно в Морали, в Праве и в Политике: их цели, функции, характер их норм, их санкция, психологические источники, из которых они вытекают и, в особенности, *их отношение к историческому разуму.*

Мораль скорее *излишне* рациональна, чем иррациональна. Следовательно, это не она делает человеческую историю такой хаотичной. Что касается Права, то оно *достаточно* рационально. Во всяком случае, превращение в правовые отношения, лишённые прежде правового характера, всегда знаменует собой важный шаг вперед на пути к исторической ясности.

Остается Политика.

Подчиненная одновременно противоположным влияниям, состоящая из бесчисленного количества элементов, вечно устремленная в разные стороны, вечно в изменениях — это она, Политика, является главным источником иррационального в истории, поскольку это последнее обуславливается действиями людей.

Если все только что сказанное верно, то *поставленная нами проблема преодоления исторической иррациональности целиком сводится к проблеме рационализации политики.*

«Политика должна стать рациональной» — таково главнейшее требование нашей эпохи.

«Давно пора создать новый политический разум».

II

Не правда ли, странно? — Даже для того только, чтобы стать простым сапожником или плотником нужно пройти довольно долгую и систематическую выучку, нужно определенное количество точных познаний. Ничего подобного не требуется, чтобы стать *политиком*. В политике каждый пользуется своими собственными приемами работы и мышления. Лишь очень немногие оказываются в состоянии подчинить в своих мыслях явления второстепенные явления действительной важности. Обычно, из всего совершающегося выдергивается наудачу несколько отдельных моментов и на них сосредоточивается все внимание.

Как много людей, позволяющих потоку событий увлечь себя без сопротивления и принимающих за окончательное и решающее все, что сообщает им последний номер их газеты. Даже наиболее опытные среди политических деятелей сплошь и рядом грешат этим. Немало профессиональных политиков считает своим долгом иметь детальную и тщательно разработанную политическую программу. Но кто среди них задавался целью построить эту свою программу на твердом и широком *теоретическом* основании?

На теоретическом основании...

Но теория политики — политическая наука — еще со времен Аристотеля топчется все на одном и том же месте и не удовлетворяет даже наиболее скромным требованиям. И никто не находил это ненормальным. Никто не видел опасности пренебрежения точным политическим знанием.

Пусть, по крайней мере, это будет найдено ненормальным теперь.

Пусть к созданию новой политической науки будет приступлено немедленно, потому что *без новой политической науки бесполезно ждать созревания нового политического разума.*

Само собой разумеется, что если бы все здесь приходилось создавать из ничего, здание научной политики не удалось бы построить с достаточной быстротой. По счастью, однако, положение не столь удручающе безнадежно. Специальная политическая наука отсутствовала до сих пор не потому, чтобы вовсе не было никаких точных познаний в области политических дел — таких познаний уже накоплено

довольно. Только прежде все они неизменно оставались разрозненными, противоречивыми, не инструментальными, так как никем не был указан ни основной *теоретический принцип*, объединяющий все их вокруг себя, ни те *теоретические центры*, вокруг которых они располагались бы в отчетливом и правильном порядке. Напротив, — едва только этот основной, высший принцип и эти центры или фокусы окажутся установленными и проверенными, как тотчас же желанная Политическая Наука создастся сразу и сама собой, вооруженная всем необходимым ей опытом и оформленная правильными методами.

На мой личный взгляд, искомый высший принцип политической науки заключается как раз в той — знакомой уже нам — мысли, что Политика наряду с Моралью и Правом выполняет специфическую социальную функцию и обладает своей особой социальной природой.

Что же касается главнейших из *подчиненных центров* научно-политических изысканий, то остановимся лишь на некоторых из них, имеющих для нас наибольший интерес.

Вот — *первый*:

— *Политические явления и процессы имеют совершенно тот же характер, обнаруживаются ли они в очень большом или же в очень малом масштабе.* — Все они подчиняются одним и тем же социологическим законам, вытекают из одинаковых причин и приводят к одинаковым следствиям. Так, в принципе, политика какой-нибудь миниатюрной сельской общины ничем не отличается от политики величайшей из мировых держав. «Политическая психология» отдельной личности прекрасно выражает порой политическую психологию целого народа; и обратно.

Далее, *второй* очень существенный пункт:

— Он, по-видимому, в одинаковой мере относится и к социальной жизни людей, и к физической жизни мироздания. Физики утверждают, что все точки макрокосма неразрывно связаны взаимно, так что движение одной единственной молекулы производит в пространстве и во времени движение всех их вместе. Точь-в-точь тоже самое — в области отношений социальных и, в особенности, — политических.

Всякий политический процесс неукоснительно подготавливается длинными рядами предшествующих политических процессов и в свою очередь подготавливает ряды последую-

щих. Взятые все вместе, они представляют собой одну общую иерархию политических сил, действий и откликов, в которой каждый из них одновременно выступает и как вполне самостоятельное явление и как часть процессов более сложных и более общих. Иначе говоря, *все политические процессы вплетаются всегда в одну общую политическую ткань*. Наименее значительные моменты постепенно синтезируются во все более и более крупные и так вплоть до того, *пока все человечество не начинает выступать в качестве единого и общего их носителя*.

Здесь мы — пред *третьим* чрезвычайно важным пунктом:

— Необходимо как можно яснее усвоить себе, что над жизнью индивидуума, семьи, города, государства и временных сочетаний отдельных государств бьется особая *международная жизнь всего человечества*. По отношению к этой последней все остальные проявления социальной жизни имеют значение лишь частей, сторон, ветвей. Если в известной степени они определяют собой мировую политическую жизнь, то в не меньшей степени они сами определяются ею. И во всяком случае, все они не понятны до конца, если рассматриваются совершенно вне ее, вне этой *мировой политической жизни*. Отсюда — следствие: надлежит приучиться *все* политические явления, каковы бы они ни были, рассматривать под *истинно международным* углом зрения; — надлежит сделать так, чтобы самая широкая международная точка зрения брала в политике верх над точками зрения более узкими; — надлежит *сознательно добиваться того, чтобы как можно скорее и как можно полнее начала проявлять себя эта истинно международная политика, политика мировая*.

Надеюсь, уже и сейчас ясно, что следует понимать под мировой политикой в отличие от общепринятого понятия политики международной. *Мировая политика это та, которая выражает собой не искусственную равнодействующую из противоположных и враждебных стремлений народов, но — наоборот — сознательный результат их общей воли, направленной к одним и тем же целям и лелеющей [один] и тот же идеал*.

Идя далее по прямому пути нашего социологического анализа, обратим внимание на следующее:

— Всякая политика относится к какой-нибудь определенной политической ситуации. Всякая такая ситуация по самой своей природе временна и появляется в результате напряженной борьбы многочисленных и разнообразных политических сил. Никакой политической режим не доживает спокойно до того момента, когда его недостатки резко бросаются в глаза всем и каждому. Обычно он изменяется или вовсе отменяется еще тогда, когда в нем достаточно жизни, когда достаточно причин для его поддержания. В силу его изменения или падения непременно исчезает нечто ценное, что должно было бы оставаться, а вместе с тем продолжает жить немало людей, которые понимают это, жалеют об этом и для которых прежнее положение вещей было единственно допустимым, дорогим, выгодным. Что же удивительного в таком случае, что *во всякую эпоху и при всяком политическом режиме неизменно находятся люди, страстно мечтающие о восстановлении «старого режима»* и напряженно работающие в целях его восстановления? Еще менее удивительно то обстоятельство, что *каждый существующий политический режим непременно имеет своих пламенных приверженцев, которых он вполне удовлетворяет*: иначе он не сумел бы утвердиться; а, утвердившись, не знал бы, на кого опереться, кем и чем держаться. — Наконец, следует ли добавлять, что никакой новый политический режим, каким бы совершенным он ни представлялся вначале, не способен удовлетворять всем решительно требованиям политического прогресса в течение долгого промежутка времени. Всегда и при всех условиях значительное количество неотложных и неоспоримых политических нужд остается неудовлетворенным. Поэтому *всегда и при всех политических режимах имеется известное количество политиков, борющихся лояльно или с помощью революционных приемов за новые этапы политического развития.*

Таким образом, при всяком политическом режиме имеются на лицо более или менее благоприятные условия:

а) для возвращения к отмененному социально-политическому укладу,

б) для поддержания существующего в данный момент порядка вещей,

в) для изменения его, хотя и существенного, но постепенного и безболезненного,

г) для революционного низвержения существующего строя в угоду строю новому, далеко забегающему вперед по мыслимому историческому пути и мало считающемуся с привычными требованиями современности.

А благодаря этому, *всегда и повсюду можно проследить проявления четырех основных типов политики: — ретроградной или реакционной, консервативной, прогрессивной или либеральной, и революционной.*

В согласии с только что отмеченным объективным условием социальной жизни неизменно складывалась на протяжении веков политическая психология людей.

Каковы бы ни были в зависимости от времени и места конкретные основания политических группировок, в их взаимной борьбе всегда обнаруживается действие *четырех основных политических темпераментов: — ретроградного, консервативного, прогрессивного и революционного.*

Различные авторы неоднократно пытались установить тесное внутреннее взаимоотношение между *возрастом людей* — с одной стороны, и между перечисленными политическими темпераментами — с другой. Они подметили, что молодые люди по преимуществу настроены революционно, что старики обычно ретрограды, что умеренные консерваторы и либералы большею частью оказываются людьми среднего возраста. — Другие исследователи пытались установить соотношение и параллелизм между темпераментами, о которых речь, и между *возрастами политических режимов*. С их точки зрения, всякий режим переживает несколько периодов, в течение которых он последовательно обнаруживает все характерные черты юности, зрелости и дряхлости. — Третьи становятся на еще более широкую исходную плоскость и относят преобладание того или другого из главнейших политических темпераментов за счет разницы *в историческом возрасте наций*.

На наш взгляд, все подобные сопоставления в одинаковой степени правильны и допустимы, так как *во всех*

планах и на всех ступенях политической жизни проявляет себя (в согласии с отмеченным выше социальным законом) одна и та же игра четырех политических темпераментов, из которых берут свое начало четыре соответственных типа политических программ.

Да, это так: — во всех планах и на всех ступенях политической жизни. Мы это констатируем и подчеркиваем, чтобы вывести отсюда то исключительное по своей важности следствие, что *и вся международная жизнь в ее целом есть не что иное, как громадное поле для игры и борьбы тех же политических темпераментов и тех же политических программ.*

В самом деле:

— В каком бы виде ни представлялось данное мировое политическое положение, оно прежде всего — *политическое* положение. Это означает, что оно удовлетворяет, в общем, одну часть народов и вызывает неудовольствие в другой. Конечно, всякий народ доволен и недоволен по-своему. Однако, в качестве единого политического целого все они представляют собой не что иное, как *мировые политические партии*. Причем одни выполняют функции народов консерваторов, другие — роль прогрессистов, третьи оказываются народами революционерами, а четвертые по старости, из-за паралича или по иной какой-либо причине вяло тянут мир в сторону политического декаданса.

Каковы эти функции и роли в каждом индивидуальном случае?

Чего требует их исполнение от соответствующих народов?

Каковы условия их возможного исторического успеха и мыслимые причины их неуспеха?

Далеко не просто уяснить себе все это. Но вместе с тем, *пока это остается не уясненным, все усилия укротить иррациональное и трагическое в истории человеческого рода будут сделаны совершенно напрасно, — не приведут решительно ни к чему.*

Скажу еще точнее:

— *Человеческая история не перестанет быть иррациональной и ужасающе трагичной до тех пор, пока международные отношения не начнут складываться в согласии с*

*определенной программой, выработанной всеми народами вместе и осуществляемой всеми ими сообща. — Для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы предварительно несколько основных программ были выработаны, провозглашены и энергично защищались в их взаимной борьбе. Говоря другими словами — **настоятельно необходимо, чтобы современные народы сделали в гораздо большей степени членами мировых политических партий, чем это было до сих пор, и чтобы даже внутренняя политическая борьба в каждом из них была по преимуществу борьбой между представителями различных международных, мировых партий.***

Оставим в стороне ретроградную политику и программы реакционные, как неспособные служить целям политического прогресса. Будем думать только о тех, которым принадлежит или историческое настоящее или историческое будущее.

В таком случае, идеалом было бы то, если бы соответствующие программы отражали одновременно требования и Морали, и Права, и Политики в их гармоническом согласовании и соединении.

Увы, подобный идеал осуществим лишь в заключительный период истории. Поэтому напрасно было бы теперь уже ломать голову над выработкой единой и безусловно совершенной мировой политической программы: все равно ничего не выйдет. Для начала же вполне достаточно было бы усвоить себе, что *во многих случаях современная жизнь народов разворачивается под знаком отчетливо выраженного преобладания то факторов моральных, то факторов правовых, то чисто политических факторов.*

Более углубленный анализ непременно показал бы при этом, что *весь стиль социальной жизни совершенно отличен у народов, подчиненных моральному началу, по сравнению с теми, над которыми витает дух права или где властвует эфемерная богиня политики.* — Тот же анализ с несомненностью установил бы далее, что *имеются совершенно специфические условия* для того, чтобы одна из этих трех этических сил могла восторжествовать над двумя остальными и чтобы она принялась властно управлять социальной жизнью той или иной страны.

В частности, во всех трех случаях совершенно различными должны оказаться: — исторические судьбы данных народов, — их государственное устройство, — их внутреннее и внешнее положение, — их национальная психология, — общий характер их культуры.

В виду всех этих причин, громадной ошибкой явилась бы выработка мировых программ без учитывания конкретных состояний основных групп народов и без того, чтобы теоретически базировать эти программы одни на Морали, другие на Праве и третьи на чистой Политике.

Этим я хочу сказать, что приходится выбирать между тремя типами программ реорганизации мира.

На чем же в конечном итоге должен покоиться этот выбор? — От чего он должен зависеть?

Очевидно, что в первую очередь он должен зависеть от объективных условий, более благоприятных для одной из программ по сравнению с остальными; а затем — от качеств программ и от нашей субъективной оценки их, т.е. от того стиля общечеловеческой социальной жизни, который каждая из них обещает установить.

Не сводятся ли после этого все отдельные частные проблемы, интересующие нас здесь, к одной общей: — к выяснению логических условий, путей и соотносительной ценности мыслимых в будущем общеисторических международных процессов, из которых один опирался бы по преимуществу на Мораль, другой на Право, третий на Политику?

И не становимся ли мы тем самым лицом к лицу с великим историческим императивом:

— Стремиться к тому, чтобы вся последующая международная борьба стала борьбою за неведомую еще пока международную мораль, за подлинные — а не мнимые только — всемирные, на этот раз вполне оправдывающие себя формы мировой политики?

III

Есть все основания полагать, что в настоящий момент историческая почва достаточно подготовлена как для формулирования вышеуказанных программ, так и для удовлетворения только что формулированного императива.

Тесная междузависимость всех стран есть один из наиболее очевидных и неоспоримых фактов современной действительности. Быстро укрепляющийся «интернационализм» есть одна из наиболее характерных черт нашей исторической эпохи. Яркие проявления единства новейшей международной жизни бросаются в глаза положительно на каждом шагу. — «Мир стал удивительно маленьким», не без основания жалуются некоторые. И, как будто бы, день ото дня он становится все меньше и меньше. Поразительные открытия и изобретения последних лет в области усовершенствования путей сообщения и средств сношения чудодейственным образом сократили пространство и частично вовсе отменили время. То, что происходит в одном конце мира, в то же мгновение становится известным во всех остальных его концах. Невозможно представить себе событие, сколько-нибудь значительное для одного народа, которое не нашло бы живого отклика в большинстве других народов. Это в одинаковой мере относится и к экономическим явлениям, и к политическим, и к чисто культурным.

В настоящее время ни одно государство не в состоянии удовлетворять все свои экономические потребности с помощью одних только собственных средств. С давних пор поэтому в общем сознании начала укрепляться мысль, что *с экономической точки зрения земной шар представляет собой единое целое.*

Не многим иначе обстоит дело и в чисто политической области. Легко ли, в самом деле, отыскать теперь такие политические явления, которые представляли бы интерес только лишь для одного какого-нибудь народа? Много ли можно насчитывать теперь серьезных политических шагов, которые одно правительство предпринимало бы без предварительного оповещения или даже без прямого согласия на них целого ряда других правительств? *Каждая*

отдельная политическая нить сама собой вплетается в ту сплошную политическую ткань, которая простирается над всеми землями и над всеми народами.

Что же касается *общей культуры* современных народов, как таковой, то она *интернациональна по преимуществу.*

Газета, которая не помещала бы телеграмм из всех уголков мира, просто не была бы газетой в наши дни. Шедевры изящной литературы переводятся на все языки. Научные открытия мгновенно становятся всеобщим достоянием. В аудитории знаменитых университетских профессоров крупнейших из культурных центров собираются для обучения представители чуть ли не всех стран. Знаменитые артисты, — музыканты и певцы, — одинаково у себя дома в Берлине и в Лондоне, в Нью-Йорке и в Париже, в Петрограде и в Риме. Уметь читать и изъясняться на нескольких иностранных языках сделалось почти обязательным для всякого образованного человека. Общий уклад жизни и одежда людей, физиономия городов, организация и распорядок отелей, тип населения столиц — все это с каждым днем становится более и более интернациональным, даже и в итоге войны и в итоге великой русской революции.

Прямым следствием уплотнения международных связей является специфическое «международное сознание» современной нам эпохи.

Все эти мысли об единстве народов, о необходимости братской солидарности между всеми частями человечества, об абсурдности и преступности войн незаметно перешли из царства отвлеченных теорий в конкретные и практические политические программы. — Организуются международные конгрессы парламентских деятелей. — Превращаются в периодические Мирные Гаагские Конференции⁶. — Создается официальная Лига Наций⁷. — Повсюду развивается широкое пацифистское движение. — Все отрасли жизни двигаются вперед с помощью соответствующих международных съездов и обществ. Наконец, — и это становится все более и более существенным, — на почве марксистского догмата борьбы классов образовался интернационал рабочего пролетариата и во всех странах дает себя знать координированное рабочее движение с яркими заданиями.

Казалось бы, очень немного недостает для того, чтобы вся наша психология, наш интеллект, наше этическое сознание стали в первую очередь *интернациональными*, и чтобы в душе ближайших же поколений, которые придут нам на смену, навсегда укоренился культ интернационализма, — последовательного и широкого?

Нужно ли указывать, насколько выгодным оказался бы для всех триумф подобного интернационализма и какие радужные перспективы открывал бы он на будущее?

Однако...

Однако, раньше, чем пропеть гимн своего окончательного самоутверждения, *интернационализму предстоит еще преодолеть одно весьма серьезное препятствие.*

Препятствие это можно называть различно:

— *Национализм, — Патриотизм, — Культ государственности.*

— В их противоположении интернационализму все указанные понятия обозначают почти одно и то же. Если угодно, это — *государство в его стремлении отстоять свой престиж, свою индивидуальность, свою независимость, не допуская ничего превыше себя и оставаясь вечно таким, каково оно сейчас.*

Всем хорошо известно всемогущество современного государства, — по крайней мере в принципе. Никто не станет отрицать, что вопреки всему современному интернационализму *психология людей XX-го века представляется по преимуществу националистической и патриотической.* Быть может, более националистической и патриотической, чем когда-либо прежде.

Означает ли это печальную отсталость нашей психики? Или это есть проявление своеобразного духовного атавизма?

Ни то, ни другое. Тот, кому пришлось бы выступать в защиту государства, легко нашел бы для своей речи десятки и сотни необходимых аргументов.

В самом деле:

— Не является ли государство *надежнейшим покровителем личности?* — Не есть ли оно *вернейший защитник национальных интересов?* Не оно ли должно быть признано *лучшим из средств для достижения наиболее совершенной социальной*

организации? — Чем более государство могуче, богато и обширно, тем больше шансов для его граждан достичь предельных высот цивилизации. Стало быть, государство есть *превосходный двигатель прогресса*. — Ни одно государство не может процветать, если оно не удовлетворяет наиболее насущные потребности всех слоев населения. С другой стороны, только с помощью государства потребности эти и могут быть удовлетворены в достаточной мере. Стало быть, государство есть *верный страж социальной справедливости*. — К тому же, современное государство чрезвычайно гибко и легко приспособляется к быстро меняющимся требованиям социальной жизни. Это его свойство позволяет ему с успехом действовать на пользу чисто политическому прогрессу. — Обычно политический прогресс совершается в атмосфере соперничества и борьбы. Внутри государства борьба происходит обычно между индивидуумами, группами и классами; здесь задача государства умерять эту борьбу и придавать ей безопасные формы. В международной области политический прогресс проистекает из борьбы между самими государствами, членами международного общения. Следовательно, *существование (независимых) государств необходимо для внутригосударственного и мирового политического прогресса*. Без них этот быстрый и неустанный прогресс не замедлил бы выродиться в мертвый застой.

Пусть приведенная аргументация в пользу государства способна вызывать весьма и весьма серьезные возражения. Одно для многих всегда останется вне спора: *идеал национализма и идеал интернационализма суть два диаметрально противоположных идеала, непримиримых в их напряженной взаимной борьбе и несогласимых ни при каких условиях*. Необходимо делать выбор между тем и другим. *Задачей последующей международной истории должно стать обеспечение решительной победы одному за счет другого*.

Положение может показаться совершенно безвыходным, социальная апория⁸ — неразрешимой. Все мечты о мирном, разумном и прекрасном будущем народов вот-вот рассеются, как дым; раз и навсегда.

Так здесь-то именно и должен впервые авторитетно проявить себя тот новый политический разум, о котором

говорилось несколько выше. Его прямая обязанность — установить с непререкаемой очевидностью, что национализм и интернационализм несовместимы лишь до тех пор, пока все в современной социально-политической жизни остается без заметных изменений. Напротив, *стоит только людям решиться на переустройство основ их публичной жизни, как пути взаимопримирения соперничающих принципов — националистического и интернационалистического найдутся без труда.*

И далее:

— Указанные принципы непримиримы, главным образом, постольку, поскольку *оба они претендуют на звание единоличного верховного управителя международной жизни.* Напротив, едва только будет признано: — что ни один из них не в состоянии планомерно управлять международной жизнью вне самого тесного сотрудничества с другим; — что оба они одинаково должны оставаться «верховными», но только в разных смыслах; — что оба они призваны в одно и то же время и подчиняться друг другу, и подчинять себе друг друга; — что не «государству вообще» предстоит сойти с исторической сцены, а лишь каждому из отдельных государств отказаться от идеала полной независимости; — едва только все это будет признано, как *самая проблема взаимопримирения национального принципа с интернациональным отпадет сама собой.*

И, наконец, — что еще более важно:

— Прошли уже те времена, когда можно было свободно выбирать между программой последовательного национализма или программой подчинения законам интернационализма. *Бесповоротное и окончательное решение уже принято.* Принято не нами, людьми, а самой историей.

Да, все это должен и может установить новый политический разум.

— «Посмотрим внимательно» — так аргументировал бы он: — «То самое государство, которое столь ревниво оберегает свою независимость и свой суверенитет, которое ведет такую ожесточенную борьбу против всякого международного прогресса, *даже и оно в последнем счете оказы-*

*вається на службі у інтернаціоналізму. І вот таким образом: — всяке стремление отдельных государств, направленное к их самоусилению, вольно или невольно содействует разрешению международной проблемы. Всякое государство, ставшее большим и благодаря этому утвердившее один общий правовой порядок на значительном пространстве земли, уже одной своей обширностью представляет собой ценное завоевание интернационализма. Повсюду и во все эпохи малые государства стремились стать великими, а великие тяготели к империализму. Но что же представляет собой подлинно империалистическое государство, если не государство, способное направлять ход всей международной жизни и стремящееся разрешать по своему единоличному усмотрению все международные вопросы?**

Говоря другими словами, национально-государственный эгоизм, достигший предельных своих вершин, в такой же мере служит делу объединения народов в одно общее политическое целое, что и самый бескорыстный интернационализм, отправляющийся от идеи солидарности и безусловного взаимного равенства всех государств. Различны в национализме и интернационализме не предельные устремления, а пути и средства. Не окончательные результаты, а методы их достижения. Поэтому-то, наверное, и бывает временами так трудно различить с точностью, где заканчивается национальный эгоизм и где начинается международная солидарность.

IV

Яркое подтверждение изложенной точки зрения дает исследование международно-политического смысла недавней великой войны⁹. Когда я утверждал, что история уже приняла окончательное решение в споре между интернационализмом и национализмом, я прежде всего опирался именно на опыт показательного 1914 года.

Еще совсем недавно выяснение исторического смысла мировой войны составляло излюбленную тему политических писателей всех стран. — Для одних эта война представлялась грандиозным поединком между двумя господствующими

империализмами: германским и английским. Другие усматривали в ней всеобщую борьбу против одного единственного — *германского* — империализма, слишком притязательного и потому слишком опасного. Для третьих, всеобщая борьба служила выражением стремления современных народов к установлению *немедленного вечного мира*. Как бы то ни было, все сходились на том, что война 1914 года есть борьба одних государств против других, и никто не пытался взглянуть на нее как на единый мировой процесс, в котором каждое государство играло определенную роль совершенно помимо своей воли и часто вопреки прямым своим интересам.

Между тем, первое условие для правильного понимания недавней великой войны заключается именно в том, чтобы отрешиться от каждого из государств в отдельности, каково бы ни было его реальное значение, и все свое внимание сосредоточит на едином *мировом политическом процессе* со всеми его условиями, путями и противоречиями, как на совершенно особом социальном процессе, вбирающем в себя и завершающем в себе все остальные социальные процессы. Только тогда с полной отчетливостью выступит наружу логика великой войны и станут одинаково ясными и достигнутые ею прямые политические результаты, и внутренний механизм, двигавший ею, и поставленные ею проблемы. В особенности же станет ясным тогда то, что *это была война за осуществление мировых политических программ и что подлинный международный мир наступит лишь в том случае, если одна из этих мировых программ будет осуществлена, чего бы это ни стоило*.

Ход рассуждений здесь должен быть приблизительно таков:

— Прежде всего великая война с чрезвычайной наглядностью подтвердила самую тесную взаимозависимость народов. Достаточно было острого столкновения интересов трех или четырех стран, чтобы тотчас же все страны почувствовали себя непосредственно затронутыми новым положением вещей и чтобы сразу изменилось соотношение всех международных сил. Параллельно великая война показала, что общность международных интересов отнюдь не исклю-

чает решительного отстаивания государствами своих эгоистических национальных интересов. Иначе, каждое государство охотно пожертвовало бы в критическую минуту своими национальными интересами в угоду общим интересам всех стран и мировой войны вовсе не было бы. Таким образом, приходится сказать, что *глубокая взаимозависимость между национальными интересами всех стран, и вместе с тем самые резкие противоречия между ними, — являются двумя изначальными предпосылками великой катастрофы 1914 года.*

Вначале все воюющие выступали с одними и теми же лозунгами. Одинаково убежденные в правоте своего дела, все они одинаково полагали, что при помощи оружия выполняют высший нравственный долг. Конкретно этот высший нравственный долг заключался для каждой страны в том, чтобы не допускать нападений противников, — не позволять никому усиливаться за ее счет, — вернуть то, что когда-то было утрачено и добиться тех или иных новых выгод. Это значит, что чисто национальная точка зрения играла тогда повсюду решающую роль; *национальные интересы служили отправным пунктом для всех наций и для всей аргументации их правительств.* «Мое собственное государство превыше всего.»

Однако, что, собственно, высказывалось этим лозунгом — «мое государство превыше всего»? В разных странах его понимали по-разному и по-разному выводили из него заключения. С наибольшей энергией и последовательностью с давних пор держалась за него Германия. Эта могучая держава не успела еще занять того места под солнцем, на которое претендовала. Она прекрасно сознавала, что полностью осуществить свои национальные вождедения ей не удастся иначе, как с помощью оружия. Наконец, для нее совершенно не было тайною, что в решительный момент она может рассчитывать только на себя. В виду всего этого она напрягала все свои силы, чтобы оказаться непобедимой в любой из ожидаемых войн, каковы бы ни были ее условия и кто бы не выступил в ней ее противником.

Как и следовало ожидать, Германия с самого начала натолкнулась на суше и на воде на четыре крупнейших мировых державы: на Англию, Францию, Японию и Россию.

И не смотря на это, в течение очень долгого времени успех и выгоды военного положения упрямо склонялись на ее сторону. Почему? Не потому ли, что один яркий национализм, опирающийся только на самого себя, всегда более силен любого числа других национализмов, опирающихся друг на друга и мешающих друг другу? *И не дается ли тем самым своеобразного исторического оправдания той мировой политической программе, попытка осуществления которой выпала на долю Германии?*

Программа, которая здесь имеется в виду, опирается на определенного рода *представление о развитии международного процесса*, допускающее два схематических варианта.

Первый вариант: — Сто малых государств постепенно превращаются в пятьдесят более крупных. Пятьдесят в свою очередь превращаются в двадцать пять еще значительно более крупных и — так, пока не останется всего на всего три государства, потом два, потом одно единственное мировое государство.

Второй вариант: — Наиболее могущественное из ста существующих государств постепенно поглощает сначала наиболее мелкие, потом средние, потом и самые крупные, чтобы в конечном итоге сделаться единственным всемирным государством.

В приведенных схемах нас должен интересовать, однако, не столько порядок постепенного сокращения числа государств, сколько *те методы и средства*, с помощью которых одно какое-либо государство втянуло бы в себя всех своих соперников.

Вот — эти методы и средства:

Чрезвычайное развитое национальное чувство.

Исключительно активная национальная воля.

Высокая цивилизация и материальное богатство, недостижимые для других стран.

Принудительное предписывание своей воли и своей цивилизации остальным нациям.

Подчинение многих наций с помощью прямого насилия.

Религия силы и апология неравенства.

Самый крайний милитаризм.

И войны, войны, войны...

Да, таковы в глубочайшей основе своей предпосылки всей внешней политики бывшей Германской империи. — Германия чувствовала себя неизмеримо выше и сильнее всех остальных стран, взятых вместе, и упорно стремилась стать еще и еще сильнее, чтобы подняться еще и еще выше. Трудно предугадать, что случилось бы, если бы подобная жажда принудительного мирового владычества мучила не только императорскую Германию, но и несколько других великих держав. И при том в одинаковой с нею степени. Лично я полагаю, что историческая логика не может допустить, чтобы в одну и ту же эпоху план принудительного политического объединения всех народов в достаточной степени увлекал более, чем одну нацию. Это — удел нации, чувствующей совершенно особое историческое предназначение или «избрание». *И не потому ли, в последнем счете, подобная «избранная» нация и берется за задачу всемирного завоевания, что видит себя единственной, ставящей себе столь широкую и смелую цель?...*

По мере того, как военные успехи Германии в войну 1914 года стали угрожать все большему и большему числу народов, автоматически стало расти число ее противников. Вот уже их приходится считать десятками. И все же месяцы проходили, миллионы людей гибли, а победа по-прежнему не знала, на какую сторону склониться окончательно. Как известно, целых четыре года понадобилось на то, чтобы она склонилась, наконец, на сторону противогерманской коалиции.

Что же, однако, означала эта победа? Что случилось в ноябре 1918 года?

Случилось то, что *за время долгого военного сотрудничества и в целях достижения общей военной и политической цели «Союзные и Дружественные Державы»¹⁰ сумели приглушить свой национальный эгоизм и подчинить его требованиям взаимной солидарности. Уже многократно указывалось, что Германия была побеждена знаменитыми «четырнадцатью пунктами» Вильсона¹¹, т.е. мировой политической программой, по смыслу своему диаметрально противоположной германской программе.*

Вильсон известен в качестве апостола братского сближения народов на основе их взаимного уважения и искреннего признания ими всякой чужой цивилизации.

Его политическая программа есть программа добровольных соглашений между государствами и дружеского согласования свободной воли различных наций, одинаково выгодного для каждой стороны.

Самое полное юридическое равенство всех государств без малейшего отношения к размерам их национальных ресурсов должно быть основным принципом и этих соглашений, и этого согласования.

Культ права царит.

Не существует никакого милитаризма.

Ангелы мира не покидают ни одной страны и не знают больше ни забот, ни трудов.

Если бы исторический процесс захотел следовать лишь путями президента **Вильсона**, то схема его — в параллель к предыдущей схеме — представилась бы приблизительно в следующем виде:

— Сто существующих государств так вечно и остаются сто.
— Были они раньше суверенными, суверенными они останутся и до самого конца истории. Только раньше все они очень мало были связаны друг с другом посредством международных договоров и договоры эти сравнительно мало затрагивали их внутреннюю жизнь. Теперь, напротив, все важнейшие политические вопросы разрешаются не столько правительствами и парламентами каждой из стран порознь, сколько специальными международными конференциями и особыми постоянными международными органами. — Войны прекратятся, как недопустимые юридически и бесполезные практически. — Международная экономическая борьба будет постепенно отменена за явной невыгодностью. — Междугосударственные недоразумения и национальная вражда навсегда исчезнут из исторического обихода, благодаря действию международного суда. — Собственно, все осталось бы без изменения только по видимости. На самом же деле, образовалась бы всемирная конференция государств, — быть может, весьма похожая на единое всемирное федеративное государство.

В ноябре 1918 года Союзные и Дружественные Державы победили Германию. Тем не менее, совершенно нельзя было сказать, что их великолепная мировая программа, отредактированная Вильсоном, одержала в этот момент победу над мировой программой их противницы.

Нет; в итоге великой войны обе мировые политические программы оказались совершенно одинаково скомпрометированными и разбитыми.

Одна из них рухнула оттого, что Германия не оказалась неизмеримо выше и сильнее всех остальных стран, взятых вместе.

Другая — оттого, что солидарность известного числа наций, вспыхнувшая в момент общей опасности, оказалась весьма хрупкой, искусственной и полностью разрядилась в военной победе над временным врагом.

Крушение обеих указанных мировых программ не вернуло мир в какое-то прежнее состояние. Нет, оно имело иные последствия совершенно первостепенной исторической важности. Благодаря ему, на первую очередь международного политического дня настойчиво выдвинулась новая мировая политическая программа — третья и последняя.

Самая радикальная, самая решительная из всех трех. Она начинается с того, что предписывает самую полную переоценку всех существующих политических и социальных ценностей.

Зачем думать, что вне форм современного государства невозможна хорошо организованная социальная жизнь? Истина как раз в обратном. Нельзя существенно улучшить условия человеческого общежития, не отказавшись предварительно от всех его традиционных форм. Независимое государство вовсе не пригодно для того, чтобы утвердить среди людей полное благополучие и вечный мир; больше — оно главнейшее препятствие на пути к ним.

Следовательно, необходимо разрушить все перегородки, воздвигнутые государством в пределах наций, и устранить все барьеры, которые отделяют нации одну от другой.

Все народы должны объединиться в единое мировое братство.

Это вполне осуществимо при условии, что это будет братство людей труда.

Весь мир представит тогда единую республику рабочих республик.

Какая разница между тем, что было, и тем, что будет!

В прошлом — человечество, искавшее объединить свои части, то с помощью принуждения, насилия и войн и на основе принципа неравноценности и неравенства наций; то с помощью договоров, согласовавших несогласимое на почве равенства искусственного и лицемерного. Это — в прошлом. В будущем же — ни равенства, ни неравенства. Ни войн и, быть может даже, ни договоров и соглашений. Но вместо всего этого *полная солидарность социальных интересов и самое совершенное единство между всеми людьми, где бы они ни жили и каковы бы они ни были.*

Пока рабочий — пролетарский — интернационализм мог представляться лишь отвлеченным выводом из социалистической доктрины и пока он сравнительно мало проявлял себя в качестве активной международно-политической силы, каждый оставался волен считаться или не считаться с приведенной программой.

Иное дело — теперь. Положение резко изменилось.

В итоге мировой войны трудящиеся массы большинства стран приобрели несравненно большее чем прежде влияние на ход международных отношений. Теперь они стали международной силой первостепенного значения. Быть может, это единственная сейчас подлинно международная сила и, во всяком случае, никакая другая из международных сил не обещает так усиливаться и расти с каждым годом, как она. И тем не менее, как бы она ни была велика и какие бы заманчивые перспективы ее ни ожидали в ближайшем же будущем, она никогда не достигнет таких размеров, чтобы социалисты могли осуществить важнейшие из своих задач одними только мирными и невинными средствами. *Чтобы не оказаться раздавленным, социализм должен защищаться и нападать. Он не может не быть революционным и он никогда не перестанет быть революционным.* Он менее революционен в более или менее

«нормальных» условиях политической и экономической жизни. Его революционность автоматически увеличивается по мере ухудшения общих политических и экономических условий в каждой данной стране.

В результате недавней грандиозной войны жизнь повсюду сделалась небывало трудной. В некоторых странах она стала буквально невыносимой. Вот почему в целом ряде стран рабочие массы проявляют себя такими революционными, какими они еще не были никогда. Они мечтают о мировой революции. Пусть не в полном своем составе и даже не в своем большинстве. Однако, даже те их части, что враждебно относятся к мысли о немедленном устройстве мировой революции, даже и они стоят за Советскую Россию, сознательно стремящуюся к мировым революционным потрясениям и вполне способную их вызвать. И кто знает? Быть может, вовсе не так далек тот день, когда мировая революция вдруг вспухнет с такой же неожиданностью, с какой несколько лет тому назад вспыхнула мировая война. Да она, быть может, уже и вспыхнула и только мы еще не замечаем, что она *уже мировая*. Ведь, и мировая война не сразу охватила все страны и не сразу стала мировой в строго географическом смысле слова.

Впрочем, оставим в стороне всякие сравнения, предчувствия и предсказания.

Одно всегда останется несомненным:

— *С той же самой социологической законосообразностью, с какой германская мировая программа выработалась до войны 1914 года, а американская (Вильсоновская) во время этой войны, — третья мировая программа, революционная, должна была выступить на передний исторический план тотчас же после нее, как раз обе первые обнаружили полное свое бессилие обеспечить установление прочного международного мира.*

До тех пор, пока эта последняя программа будет иметь своих горячих сторонников, возможность мировой революции не должна считаться исключенной. Потому что, с другой стороны: — до тех пор, пока еще не устранены целиком всякие вообще поводы к мировой революции, революционная мировая программа неизменно останется угрожающей для одних и соблазнительной для других.

Таким образом, если первая (*консервативная*) мировая программа необходимо предполагала мировую войну; если вторая (*либеральная*) могла утвердиться лишь при посредстве всеобщего мирного договора на равных для всех началах, то третья (*революционная*) мировая программа предполагает пришествие **мировой революции**, которая во внезапном и бурном прорыве в будущее сразу должна осуществить все то, что были бессильны осуществить века напряженной работы и напряженной борьбы.

Но так как здесь нужна именно мировая революция, т.е. новая ужасная катастрофа, новая борьба и новые бесчисленные жертвы, то *и она может не привести ни к чему, точь-в-точь так же, как и мировая война, а за войной всеобщий мирный конгресс, предшествовавший ей*. О, да! Этого следует опасаться: при неблагоприятных условиях даже и в итоге всемирной революции ничто не будет разрешено и никакая мировая программа не будет осуществлена. Напротив, последние ресурсы человечества, материальные и моральные, оказались бы исчерпанными и последняя юная кровь современного человечества была бы понапрасну пролита на бесчисленных военных фронтах «внешних» и «внутренних».

В этом и только в этом, *главнейшая опасность* мировой революции.

Иначе ее надлежит приветствовать в несравнимо большей степени, чем в 1914 г. многие приветствовали мировую войну, усматривая в ней единственный способ навсегда выйти из создавшегося безвыходного международного положения и установить какую-то «новую международную справедливость».

Из рук народных диктаторов в стиле **Ленина** и при посредстве таких стран, как современная Россия, голодных и нищих, мир вдруг получит то, чего не могли дать ему ни Германия с императором **Вильгельмом**¹², ни Америка с президентом **Вильсоном**.

И в связи со сказанным выше о современном международном хаосе и о рационализации истории, да будет мне позволено прибавить:

— Чем меньше мы вдумываемся в истинный исторический смысл деяний и намерений **Вильгельма II**, **Вильсона** и **Ленина**, тем больше мы работаем невольно в пользу

Ленина. С другой стороны, чем, меньше мы стремимся сделать сознательный выбор между программами Вильгельма, Вильсона и Ленина, тем большие ужасы безысходного мирового хаоса ждут нас и грозят всему будущему человечества.

Итак, настоятельно необходимо проанализировать с возможной тщательностью политические цели и методы вышеуказанных *императора, президента и диктатора*.

Практическое значение подобного анализа огромно. Не менее значителен и его чисто теоретический интерес. Вот почему именно этому анализу будет посвящено все наше последующее изложение.

Пред нами развернутся тогда три великие политические системы. Мы проследим замечательное сцепление соотношений между *Моралью, Правом и Политикой* с одной стороны и между *духом консерватизма, либерализма и революционного экстремизма* с другой; между режимами *монархическим, республиканским и советским* и (соответственно) между *империализмом, федерализмом и рабочим интернационализмом*; — между социологическими принципами *неравенства, равенства и единства* и между идеалами *аристократов, демократов и социалистов*. Благодаря всему этому мы, в свою очередь, получим возможность более ясно представить себе, что по самому существу своему являет собой Политика и чем — конкретно — она должна быть для каждой страны в будущем.

Хочется верить, что тем самым мы приподыдем завесу исторически иррационального и осветим его первым лучом истины. И пусть за первым лучом как можно скорее следуют другие.

История не ждет.

**МИРОВОЙ КОНСЕРВАТИЗМ.
ГЕРМАНИЯ И ВИЛЬГЕЛЬМ II.**

I

Мы уже знаем, что наиболее характерная черта Морали заключается в абсолютности ее предписаний. Мораль допускает только *законы* и каждый из ее законов приказывает *категорически*. Человек поступает морально лишь в том случае, если повинуется правилу, принимаемому им и всеми окружающими за высшее, суверенное, божественное. Не существенно, в чем конкретно состоит подобного рода правило. В истории человеческой морали заповедь «убий» в той же мере почиталась порой моральной заповедью, что и ее антипод — «не убий».

Абсолютные нормы не могут проистекать из относительного, не совершенного источника. Сплошь и рядом они признаются абсолютными всецело лишь потому, что абсолютным представляется людям тот источник, из которого они берут свое начало. Отсюда чрезвычайно тесные взаимоотношения — совершенно нерасторжимые, быть может — между моралью и религией; в особенности в древние времена. Морально то, что предписывают боги или Бог. А когда моральное сознание становится особенно возвышенным и утонченным, взаимное положение Бога и морального закона меняется к прямой выгоде Морали. Та или иная норма моральна с этих пор не потому, что предписывается Богом; нет, наоборот: Бог предписывает ее и не может не предписывать, так как она *моральна сама по себе*. Это значит, что Мораль стремится стать даже выше религии и господствовать над нею, чтобы оказаться т[ак] ск[азать] еще более абсолютною, абсолютно абсолютною, — «автономною».

Столь высокое происхождение моральных норм логически исключает всякое средостение между этими нормами и людьми, повинующимися им. Они обращаются непосредственно к человеческой душе. Они снабжены очень строгой санкцией, но санкция эта не выходит за пределы их самих и за пределы морального сознания людей. Это оказывается вполне возможным, поскольку материальное содержание моральных предписаний стремится обычно быть наиболее возвышенным и чистым: иначе, ведь, они с трудом удовлетворяли бы потребности человеческой души в абсолютном и вневременном.

Увы, наиболее возвышенные и чистые правила поведения обычно являются такими, которые особенно трудно примиряются с условиями реальной действительности. Как быть, в самом деле, с велением «не убий», если в целом ряде случаев убийство есть единственное средство избавиться от страшного преступника, от опасного врага? Чрезвычайно сложные, порой совершенно неразрешимые нравственные (этические) коллизии на каждом шагу подкарауливают того, кто хочет иметь дело с одними лишь вечными законами абсолютного Добра.

Каков же выход?

Здесь два выхода.

Первый заключается в том, чтобы избегать всего, что ведет к моральным коллизиям, т.е. покинуть жизнь среди общества и удалиться в леса и пустыни; не действовать, а только созерцать. Это то, что предлагает *аскетизм*. Вполне очевидно, однако, что это отнюдь не выход. Мораль, которая разрушила бы всю социальную жизнь, вступила бы в прямое противоречие со своим главнейшим назначением: — регулировать социальные отношения людей. Вместо того, чтобы разрешить проблему, аскетизм попросту уклоняется от ее разрешения, искусственно отделяется от нее.

По счастью, Мораль не послушалась аскетов. Она предпочла вступить на иной путь, где ничто не мешает ей остаться на страже общественных человеческих нужд. К тому же, это отнюдь не помешало ей оставаться аскетичной в весьма значительной степени. Несколько позже мы убедимся в этом.

Второй выход для Морали из неразрешимых противоречий между абсолютностью принципов и относительностью требований повседневной жизни заключается в том, что она *провозглашает абсолютным то, что отнюдь не абсолютно*, — и моральным то, что порой является прямо противоморальным. Поступая подобным образом, Мораль не только достигает взаимопримирения диаметрально противоположных принципов «не убий» и «убий» (указывая определенные случаи, когда убийство — долг для человека), но еще и приобретает возможность авторитетно вмешиваться во все житейские мелочи. Она объявляет, например, морально обязательным ношение определенного рода одежды, употребление или неупотребление определенного рода пищи.

При таких условиях, ничто — казалось бы — не должно было мешать Морали служить единственным двигателем всей социальной жизни. Потому что нет, ведь, решительно ничего, самого относительного, что она не в силах была бы провозгласить абсолютным.

И тем не менее даже при наличии *такой* Морали, — социальная людская жизнь не может обойтись без самого широкого применения Права и Политики.

Почему же?

Потому что как бы ни было в некоторых случаях относительно и условно существо норм, называемых моральными, нормы эти непременно должны оставаться вечно *неизменными, служить всегда*. Между тем, жизнь в каждый момент требует смены норм, — норм, пригодных лишь в течение известного промежутка времени, или же — норм, рассчитанных лишь на отдельный индивидуальный случай.

Пред нами, таким образом, еще одна громадная трудность для Морали: создавать противные ее природе временные, условные нормы. Но она и эту трудность ухитряется преодолеть, *объявив Право и Политику непосредственным образом подчиненными ей*. Право со всеми его несправедливостями — так утверждает она — справедливо, а недопустимое в политике допустимо, потому что в конечном итоге все это служит наиболее чистым и высоким моральным целям. И она спешит

прибавить: и Право и Политика заслуживают уважение ровно лишь постольку, поскольку они служат ей, Морали. Вне Морали они ничто. Вне Морали Право не есть Право и Политика не есть Политика.

Это еще не все, однако.

Сосуществование Морали, Права и Политики ради одной и той же социальной и этической цели само уже по себе указывает, что Благое и Должное не все одинаково хорошо, что нужно *уметь выбирать* между хорошим и лучшим, между плохим и худшим. Не все люди одинаково приспособлены к тому, чтобы с успехом делать подобный выбор. Есть человеческие души, чрезвычайно чуткие к вдохновениям Добра. Есть другие, гораздо менее чуткие. Очевидно, что прямая обязанность первых состоит в том, чтобы руководить вторыми, указывать им пути поведения, заставлять их слушаться и повиноваться. Для недостаточно моральных душ — слушаться и повиноваться есть таким образом единственный способ находиться в согласии с Моралью. Это в свою очередь, означает то, что по самому основному своему этическому существу *Мораль освящает неравенство* между людьми; неравенство — сначала лишь в этическом отношении, а затем и в различных других отношениях. Это она дает начало и оправдание всякого рода аристократизмам и различиям между управляющими и управляемыми. Это она возвышает одних и принижает других. Это она позволяет меньшинствам и единицам господствовать над большинством, часто над «всеми». За эту ее черту, да еще всегда лишь при мнимой абсолютности ее норм, можно смело уклониться от безоговорочного преклонения пред нею и считать ее этически ничуть не выше не только Права, но даже и Политики.

Всякий по настоящему моральный человек всегда готов в точности выполнять высшие веления и исполнять свой непреложный долг. Моральное существо никогда не живет, чтобы лишь жить; жить ради самой жизни. Оно *всегда — на службе у Добра*. Оно всегда выполняет какое-то провиденциальное назначение. Оно не принадлежит себе. Его жизнь предопределена. И мне представляется совер-

шенно несомненным, что именно это чрезвычайно характерное сознание *предназначенности и предопределенности* есть тот главный стимул, который правящим позволяет управлять и навязывать Долг, а управляемых заставляет слепо повиноваться и выполнять любой долг.

Вот когда — согласно обещанию — мы снова лицом к лицу с проблемой аскетизма.

Бессильный превратить всех людей в отшельников или столпников аскетизм компенсирует себя тем, что служит опорой пассивного подчинения и самоотречения, владеющих душою очень и очень многих людей. Можно с полным основанием утверждать, что чем более каждое данное общество морально, тем более оно должно быть пропитано духом своеобразного социального аскетизма. А что же сказать про то общество, про ту нацию или про то государство, которые являются моральными и аскетическими *par excellence*¹³? Легко себе представить, какими колоссальными ресурсами подчинения долгу, самоограничения и самоотречения располагают они в лице каждого из своих членов для осуществления всех целей и для отстаивания всех своих интересов!

Вряд ли мы сильно погрешили бы против истины, если бы сказали, что подавляющее большинство социальных установлений, даже наиболее временных и эфемерных, только тем и держится, что у людей есть привычка принимать их за вечные, неизменные и совершенные. Привычка эта, вытекающая из необходимости чисто социологического порядка, может быть объяснена и в порядке историческом и психологическом. Правила поведения, передаваемые из поколения в поколение, приобретают совершенно особенное значение и совершенно особенную силу. Тот факт, что уже отдаленнейшие предки следовали им, сам по себе подтверждает их характер норм моральных, т.е. вечных и абсолютных.

На известной ступени социального развития у людей незаметно теряется желание проверять каждый раз, действительно ли данное правило поведения абсолютно, совершенно и дошло из глубины веков. Достаточно объявить его моральным, как тотчас же абсолютный характер, — не допускающий ни ослушания, ни исключений, — автоматически закрепляется за ним.

В сущности, лишь теперь впервые становится вполне возможным то, о чем говорилось несколько выше: сознательное предписание себе носить определенную одежду и употреблять определенную пищу в качестве чисто моральных обязанностей.

Теперь ничто уже не может помешать объявлять за абсолютные и вечные какие угодно нормы.

Но зато с этого момента *Мораль* невольно превращается из источника наиболее совершенных этических правил в покорную служанку любых житейских нужд.

Вот почему действовать морально вовсе не означает творить веления Абсолютного Добра. Абсолютные правила Морали и подлинное Абсолютное Добро суть две совершенно различные вещи. Последнее обнаруживает себя не иначе как в некоей мистической гармонии элементов моральных, правовых и политических. Оно непременно их синтез. Его индивидуально-психологическое отражение в человеческой душе — *нравственность*, а не только Мораль.

Пусть наше различие понятий моральности и нравственности условно, — оно действительно необходимо для правильного понимания основных этических соотношений. Нужно ли прибавлять, что и понятие «этического» в свою очередь весьма отлично у нас не только от понятия «морального», но и от понятия «нравственного»?

Объективное выражение Абсолютного Добра непременно дается в объединении и слиянии Морали, Права и Политики, как выражений ценности вневременного, временного и мгновенного. Взятая же в отрыве от Права и Политики, Мораль ни в какой степени не предохраняет от самых страшных несправедливостей. Напротив, сплошь и рядом она оказывается их главнейшим и непосредственным источником. Можно даже, пожалуй, выставить как вполне точное правило, что чем больше Мораль стремится выполнить свое социально-этическое назначение в качестве единственной этической силы, тем более она несправедлива и на тем большую расплату обрекает она своих служителей.

Очень скоро мы увидим это на примере одного народа, несомненно наиболее морального среди всех остальных

в нашем значении слова, но вместе с тем и наименее «справедливого» из всех, как раз в период преимущественного торжества в его среде начал Морали.

Для того, чтобы моральным по преимуществу оказался характер целого народа, требуется очень много особо благоприятных условий.

Из самой природы Морали вытекает то, что ее очень трудно насаждать преднамеренно. Несравнимо легче сохранять ее от старых времен, — поддерживать как наследие предшествовавших поколений. С известного момента должна сформироваться и постоянно проявлять себя особая моральная психология, благодаря которой народ в своих делах подчинялся бы специфическим «моральным» импульсам и руководился бы по преимуществу абсолютными правилами. Это, разумеется, дано далеко не каждому народу. Помимо некоторого специального предрасположения, если только таковое вообще бывает у народов, очень много зависит от их личных *исторических судеб*. Необходимо, чтобы в течение очень долгого периода данный народ жил приблизительно в одних и тех же условиях, имел пред собой одни и те же национальные цели, и осуществлял эти цели все время с помощью одних и тех же средств; необходимо также, чтобы переход от религиозного представления о государственной власти к нерелигиозному совершился у него без особенных потрясений. Еще значительно лучше, если яркие следы обожествления светской власти все еще сохраняются от добрых старых времен и дают себя чувствовать. Далее, является совершенно необходимым, чтобы основы государственного порядка, даже сравнительно второстепенные, не испытывали в прошлом внезапных и резких потрясений или перестановок, дабы народ не мог рассматривать себя единственным источником всего положительного права и не стремился подчиняться одной лишь собственной воле. Собственная воля никогда не может сойти за высшую и абсолютную, а самоданные законы с трудом приобретают значение законов нерушимых и вечных.

Говоря другими словами, народы могут управляться по преимуществу моральными силами лишь в том случае, если их настоящее неразрывно связано с их прошлым,

плавно вытекая из него, — если новейшие поколения, не взирая ни на какой прогресс, исполняют заповеди дальних предков, — если по отношению к соседям методы самозащиты прежних веков все еще представляются наиболее надежными. Тем самым, морализм в качестве главной основы национальной психологии оказывается неотделимым от духа традиции, от традиционализма. *В среде остальных современных ему народов «моральный народ» неизбежно оказывается в положении народа консерватора.*

В нашу эпоху быть народом консерватором очень трудно. Особенно трудно это для великих народов. В нашу эпоху великий народ, оказывающийся в международном парламенте лидером мирового консерватизма, — это тот, что сохраняет у себя монархов Божией милостью, что не имеет достаточно развитого народного представительства, что видит в силе главную основу политики, что боготворит войны, верит в свое высокое историческое предназначение и, презирая все остальные народы, мечтает все их подчинить своему господству.

II

Не являлась ли дореволюционная *Германская Империя* законченнейшим образцом такого великого народа-консерватора, чей чисто моральный характер послужил источником с одной стороны величайших национальных достижений во всех областях духа и материальной культуры, а с другой стороны — величайших несправедливостей и самых грозных опасностей для всего человечества?

Бросим беглый взгляд на прошлое Германии; оно чрезвычайно поучительно.

Вспомним прежде всего ту Пруссию, которая выступила некогда в виде «Тевтонского Ордена»¹⁴, одновременно религиозного и военного.

Орден этот, созданный для борьбы с мусульманами, за недостатком мусульман предпринял в XIII-м веке покорение прусских племен. Воинственные пруссы доблестно защищались, но постепенно были вынуждены подчиниться

рыцарям. Таким образом, первое объединение пруссов произошло с помощью оружия и вопреки самим пруссам.

Следуют долгие периоды подчинения Пруссии Польше и Швеции.

Однако, национальное чувство не угасает в сердцах прусских правителей. Им удается превратить Пруссию в светское княжество и закрепить управление ею в роде бранденбургских маркграфов. С тех пор, поколение за поколением, история выпускает на свою арену одного Гогенцоллерна¹⁵ за другим, — герцогов, потом королей, потом императоров. Их было много в течение веков, почти сплошь чрезвычайно типичных, верных одним и тем же традициям и преследующих одни и те же идеалы.

Вот **Фридрих-Вильгельм¹⁶**, знаменитый Великий Электор. Разбитый Швецией, он переходит под ее суверенитет, но вместе с тем значительно расширяет свои владения. Спустя несколько лет он вынуждает шведов признать независимость Пруссии, а еще немного спустя прусскую независимость признает и Польша. Добившись этого, Великий Электор обращается ко внутреннему устройству своей земли. Он раз навсегда прекращает сопротивление знати и городов путем заключения в тюрьму одних из своих врагов и казни других. Власть его отныне — власть наиболее могучих королей его времени. Но ему мало одной только ка[ст]овой стороны владычества. Он ищет прочных результатов. И вот он вводит в Пруссии образцовое административное устройство, создает в ней замечательную армию, значительно улучшает государственные финансы, старательно содействует мощному развитию земледелия и промышленности своей страны.

Преемник Великого Электора **Фридрих III¹⁷** не был властителем ни сильным, ни экономным. Зато это он возвел Пруссию в ранг королевства и он же с искренней любовью покровительствовал наукам и искусствам, основывая академии и университеты.

Сын Фридриха III, **Фридрих-Вильгельм I¹⁸**, несравненно более похож на своего деда, чем на отца. Будучи своим собственным министром финансов и военным министром, он во всех отношениях прекрасно поставил и свою казну и свою армию. Утверждают даже, что в его эпоху

прусская армия и прусская администрация были лучшими в мире. Сам он целиком посвятил себя *служению* своему народу и охотно рассматривал себя *первым чиновником государства*. Он не жалел сил, чтобы воспитать чувство дисциплины и привить любовь к строгому выполнению долга в своей семье, у приближенных, среди чиновников и в особенности среди офицерства. Офицеры в его правление не получали больших окладов, но зато он сумел поставить их в положение самого почетного класса в стране. Так это осталось и на все последующее время.

Наконец, появляется **Фридрих Великий**¹⁹.

Как известно, он ввел Пруссию в среду великих держав, широко раздвинул ее границы и стал во главе оппозиции Габсбургам²⁰. Воспитанник французских философов, он вместе с тем не переставал быть близкой копией своего отца. Абсолютная дисциплина, непобедимая армия, администрация, действующая с точностью совершенного автомата, пылкий национализм — таковы были его идеалы и сюда были направлены все его желания. В свою очередь, и он любил называть себя *первым слугою народа*. В юности своей он испробовал свои силы в политической литературе, написав «Антимакиавелли». Но со временем, в качестве верного Гогенцоллерна, он предпочел проявлять себя настоящим Макиавелли²¹, если не Архимаквиавелли.

Начало XIX-го века было ознаменовано для Пруссии многими тяжкими испытаниями.

В эту эпоху одна королевская власть оказалась бы бес- сильна вывести страну из несчастий и снова обеспечить ей надлежащее место среди народов. Тогда решающее слово перешло к прусскому *национализму*. — Прусский народ и прусское государство — одно; так утверждал этот национализм. Служить им — долг каждого пруссака. Но прусское государство отражено и запечатлено в персоне короля, получившего свою власть из божественных рук. Следовательно, долг каждого пруссака быть до конца со своим королем. Пламенный национализм, монархизм и религиозное восприятие власти сливаются, таким образом, в нечто единое в прусской национальной психологии. И вот тогда-то так быстро расцветает в Пруссии особая политическая философия в одно и то же время и патриотическая, и нацио-

налистическая, метафизическая или мистическая даже, нашедшая мощный отклик сначала повсюду в германских землях, а позже и в негерманских.

В частности, не ее ли влияние и отражение следует искать в характерных словах Вильгельма I, произнесенных им в 1863 г., накануне коронации: — *«Прусские суверены получают свою корону от Господа. Итак, я возьму завтра корону с Божьего алтаря и возложу ее на мою голову. В этом — смысл королевской власти по божественному праву и в этом святость короны, которая неразрушима»*.

Мы потому так долго задержались на прусских королях, что они весьма сильно помогают понять императора Вильгельма II, а следовательно и ту германскую империю 1871—1918 гг., которую он воплощал в себе с удивительной точностью и законченностью.

Между Вильгельмом II и его предками, между «его» Германией и «их» Пруссией поддерживались связи наиболее живые и прочные. Новейшая дореволюционная Германия была ничем иным, как Пруссия Великого Электора, если только иметь прежде всего в виду ее политические идеи, методы политики, а также ее национальные цели и моральный ее дух. Лучшее доказательство тому: — Вильгельм II всегда ставил себе за идеал сделаться новым Великим Электором или Вильгельмом I-ым. Их имена непрестанно у него на устах. Они всегда и неотступно в его мыслях. Он называет их не иначе как «великими» и охотно вспоминает их изречения. Да, наконец, и сам он весь целиком мог бы быть исчерпан в их сентенциях. Не означает ли это, что Вильгельм II и его Германия жили многовековой исторической традицией германского народа?

Если угодно, то — вот примеры:

— Утверждение монархического принципа у последнего германского императора несколько не слабее, чем у первых прусских герцогов и королей. Скорее даже, у Вильгельма II оно сильнее, чем у его предков. Он, как никто, любил подчеркивать, что является «единым владыкой в стране» и что он «не потерпит никакого другого владыки». Из прославленных латинских изречений он более

всего любил: *suprema lex regis voluntas* (Власть повелителя — закон), — *nemo me impune lacessit* (Никто не перечил мне безнаказанно), — *sic volo, sic jubeo* (как желаю, так и повелеваю). Для какой-то «Золотой Книги Германского Народа» он начертал (на пороге XX-го столетия). — «Король имеет власть Божией Милостью; поэтому только перед Богом он и ответственен». — В 1910-м году он вспоминает в Кенигсберге только что привиденные слова Вильгельма I и так комментирует их: — «Это здесь мой дед снова возложил по собственному праву корону прусских королей на свою голову, *лишний раз показав тем с очевидностью, что владеет ею исключительно по милости Всевышнего, а не по милости парламентов, национальных собраний или плебисцитов; — равно как и то, что он рассматривает себя в качестве орудия Неба*».

Как очень многие из других речей красноречивого императора, его кенигсбергская речь вызвала звучное эхо в стране. Государственный канцлер снова и снова оказался вынужденным появиться на трибуне рейхстага для защиты своего суверена. — Как же он защищал его? — Он признал прежде всего, что в кенигсбергской речи, действительно, дается «*сильное утверждение монархического принципа*». Но, ведь, этот принцип представляет собою «*основу прусского государственного права, равно как выражение глубоких религиозных убеждений, которые восприняты и разделяются в многочисленных классах населения*». (Горячие одобрения на правах скамьях и в центре.) «За время своего многовекового развития — продолжал канцлер — это не он, не прусский народ создал для себя королевство, но наоборот труд великих монархов из дома Гогенцоллернов, поддержанный упорством и способностями *населения*, создал сначала прусскую национальность, а потом и прусское государство». (Аплодисменты на различных скамьях.)

«Горячие одобрения»... «Аплодисменты»...

Следует ли к этим сообщениям отчетов прибавлять какие бы то ни было комментарии? Воистину, *монархический дух* не был еще слишком слабым в Германии 1910-го года!

Точь-в-точь как его предки, Вильгельм II очень любит опираться на Бога. Прусские короли, Германские импера-

торы и Господь Бог — самые лучшие друзья. Всевышний для них не просто Бог, каким он является для всех христиан, а «старый немецкий Бог». В этом его особом качестве у Бога имеются совершенно особенные обязанности в отношении немецкого народа. Он должен верою и правдою служить немецким целям. В течение всей великой войны, например, он неизменно являлся «союзником в небе» немцев. Все речи и заявления германского императора в этот период неизменно заканчивались благочестивыми обращениями к этому «Союзнику». Моральные существа — мы уже отмечаем это — приучены быть очень религиозными.

Чтобы быть еще более типичным в качестве Гогенцоллерна, немца и консерватора, Вильгельм II обнаруживает большой вкус к патриархальности. — То он упрекает свой народ за проникший в него «дух неповиновения», то он распространяется о своем «сердце отца народа». Он глубочайшим образом убежден, что именно он, и он один, должен вести Германию по пути осуществления высших ее целей, тогда как все его поданные обязаны лишь беспрекословно следовать за ним. — Его министры суть для него не более как его личные слуги, которых он охотнее всего выбирает среди людей безличных. — В первом же крупном конфликте между правительством и консерваторами Вильгельм II занял свою собственную позицию и заявил, что он считает оппозицию Правых направленною не против его министров, а против его самого, носителя короны и против... «его отеческих забот». — Когда во время одной речи в рейхстаге имперский канцлер Бернгард-фон-Бюлов²² упал в обморок, император выразил Высочайшее желание видеть «своего Бернгарда». — «Мой Бернгард»... Можно ли яснее выразить то, чем был для этого властителя глава его же собственного правительства? «Моим Бернгардом» сказано все.

«Я», — «мои желания», — «мои предназначения», — «моя воля», — для Вильгельма II все это высшие критерии Справедливости и Блага. Критерии эти тем более непогрешимы, что «Я» совпадает для него с понятием: «мой Дом»; личная его воля — с волей всех его предков. Иначе говоря, в качестве короля и императора он всегда и во всем

выступает как боговдохновенный носитель вековой правительственной мудрости Гогенцоллернов.

Что же может стоить по сравнению с этой мудростью королей-отцов разум детей, т.е. всего немецкого народа? — Дети не всегда даже в состоянии понять толком намерения своего отца, так что ему же приходится временами ставить им это на вид. — «Мне кажется — наставительно заявил он пред одним благоговейно внимавшим собранием, — что вам, господа, нелегко будет уяснить себе дорогу, *которую я следую* и которую *я себе наметил*, чтобы она вела к моим целям и ко всеобщему счастью».

Вильгельм II не упускает из виду существования конституции, в силу которой пруссаки с давних пор перестали быть несовершеннолетними; но он уверен, что конституция эта «лишь ограничивает», а отнюдь не «отменяет» его наследственное право направлять политику и правительство Пруссии «согласно его планам». Отсюда его твердое желание, чтобы «на этот счет в Пруссии не было никаких сомнений».

Впрочем, за некоторыми немногими исключениями последний Гогенцоллерн в течение всего своего царствования оставался вполне лояльным в отношении конституций прусской и имперской. Если же ему было одинаково легко выступать и в роли конституционного правителя, и в роли патриархального отца отечества, то в этом вина самих конституций, а не его лично. Напротив, было бы более чем странно, если бы такой законченный Гогенцоллерн, как Вильгельм II, и глава такого монархичного по духу народа, каким был до революции немецкий народ, стремился бы во что бы то ни стало извлечь из «октроированных» (дарованных) конституционных актов все их демократические выводы.

В полном согласии со своим преимущественно моральным характером и со своею преданностью традиции, он неизменно проявлял себя подлинным *консерватором*, который душою и сердцем связан с наиболее убежденными противниками всякого прогресса политических форм. В парламенте он опирается на «католический центр», на крупных промышленников, на аграриев, на элементы умеренные и более чем умеренные. Тем, кто недоволен

существующим режимом, он предлагает покинуть пределы Германии. Социалисты представляются ему преступными революционерами, разрушителями государства. Это их имеет он в виду, когда заклинает немецких студентов сохранить идеализм в качестве противоядия против зловредного духа, охватывающего страну. Он ведет против социалистов открытую и настойчивую борьбу. Однако, разве он не располагает в этой своей борьбе сочувствием широких общественных кругов? Когда на выборах в Рейхстаг 1907 года социалисты потерпели поражение, разве не было в Берлине импозантных патриотических манифестаций перед дворцами императора и канцлера?

Наконец, — и это вполне последовательно, — Вильгельм II насколько мог всегда держал сторону немецкой знати. Сколько раз, — в особенности за первый период великой войны, он призывал немцев сплотиться «вокруг их князей». В 1888 году, совсем еще юным, он заявил: — «Для выполнения великих обязанностей, которые лежат на мне в отношении моего народа, я не могу пользоваться помощью одних только органов государства. Чтобы поднять моральный и религиозный уровень, чтобы укрепить и развить силы нации мне нужна помощь наиболее благородных среди нее, то есть помощь *“моей знати”*». Да, несомненно, про немецкую знать Вильгельм более чем про кого-либо мог сказать, что она «его»; но не потому ли это, что и она в свою очередь имела полное право считать его «своим Вильгельмом».

От вкусов и склонностей аристократических до вкусов военных, милитаристических — всего лишь один шаг. И кто же не знает в наши дни, каким убежденным милитаристом являлся последний из германских императоров? — Он, не колеблясь, повторял то и дело, что «армия была и остается единственной опорой империи». — Он очень любил напоминать друзьям и врагам о «блистающем немецком мече». — Международный мир в итоге кровопролитной войны ему хотелось продиктовать «штыками своих солдат» и подписать «на барабане». Именно меч, штыки и барабан должны были, в его представлении, обеспечить Германии уважение остальных стран. — Отправляя войска в Китай для усмирения китайских боксеров, Вильгельм II

приказывал им: — «Знайте: никакой пощады никому; никаких пленных. Пользуйтесь так вашим оружием, чтобы в течение тысячелетий ни один китаец не осмелился косо взглянуть на немца». Бедные китайцы, скажете вы. Но в китайцах ли тут дело? — Если бы так же, как с ними, можно было распорядиться со всеми остальными народами, разве отказался бы Вильгельм II и ко всем им применить вышеприведенный приказ? Без малейшего риска погрешить против истины можно утверждать, что милитаризм с его характерным культом силы, хитрости и жестокости, с его героизмом и его страстями представлялся последнему Гогенцоллерну одной из высших самоцелей. Но еще гораздо неоспоримее то, что он почитался им за совершенно необходимое средство для экономического и политического покорения мира Германией, т.е. для осуществления ею ее империалистических целей или, если угодно, — для «выполнения ею своего исторического назначения».

Здесь, однако, я хотел бы оставить уже в покое последнего короля, императора и отца пруссаков и немцев и обратиться непосредственно к самим немцам.

Для них, в качестве нации, пристрастие к национализму, империализму и милитаризму было до революции столь же характерно, что и для Вильгельма II. Об этом много говорилось и писалось в последние годы.

В свое время знаменитый Гегель²³ объявлял войны необходимыми для сохранения «морального здоровья» наций. Ницше²⁴ радостно пугал соотечественников эффектными фразами о том, что «война и храбрость произвели более великого, чем любовь к ближнему». Он был в восторге от обязательной воинской повинности и «от настоящих войн, в которых не до шуток». — «Я радуюсь — восклицал он — военному развитию Европы. В каждом из нас сказано варвару «да», также и дикому зверю». Наиболее влиятельные и наиболее национальные немецкие историки, Моммзен²⁵ и Трейчке²⁶, поучали, что нации, менее способные к цивилизации, должны быть «искоренены» более способными, что наша эпоха есть эпоха войн и торжества сильного над слабым и что идея вечного мира противонравственна.

Согласно Фихте²⁷, немцы являют собой das Ich unter den Nationen, «Я среди народов». Тот, кто знает основные черты метафизической системы этого великого немецкого философа и патриота, должен знать также и то, какой большой комплимент по адресу своих соотечественников сделан им в этом его определении. — Мысль того же Фихте, согласно которой «никто не спасет мировую цивилизацию, если уж ее не спасет немец», сразу нашла себе в немецких сердцах благодатную почву. Во всякую позднейшую эпоху она появлялась вновь и вновь в речах и писаниях бесчисленных немецких философов, ученых, журналистов, политиков, генералов и пасторов.

— «Кто знает, — озабоченно раздумывал И. Л. Реймер²⁸, — не предназначены ли мы, немцы, быть тем возмездием, которое исправит и излечит всех, склонных к вырождению» (т.е. французов, испанцев, португальцев, турок и славян)? Тон других немецких патриотов более категоричен. Послушать их всех, так немцы это «соль земли»; на них выпала прямая обязанность путем насилия исцелить от «порчи» весь остальной мир. Это означает, что немецкая нация имеет совершенно особенную *историческую миссию*, чрезвычайно высокую и чрезвычайно благородную. Для генерала Бернгарди²⁹ немецкая историческая миссия заключается в укреплении ядра, вокруг которого сгруппировались бы все разрозненные части германской расы, — в расширении сферы германского влияния, — в приобретении немцами «господствующего положения» среди других народов, — в их окончательном триумфе над всеми другими народами, как над «варварскими, революционными и материалистическими».

И вот случилось то, что должно было случиться: — Утрированный национализм после ряда естественных превращений, завершился в империализме притязательном и шумном. «Наиболее великая Германия», о которой мечтали сотни безудержных пангерманистов типа профессора Оствальда³⁰, должна была в идеале обнимать: немецкую часть расчлененной Австрии, отторгнутые от России бывшие прибалтийские провинции, Голландию, фламандскую часть Бельгии, великое герцогство Люксембургское, немецкие кантоны Швейцарии, Лотарингию и Шампань с городами

Нанси и Лиллем. Помимо вышеперечисленных частей новой Германии, подлежавших *аннексированию* старой Германией, проект пангерманистов предусматривал присоединение к империи на конфедеративных началах трех скандинавских стран. Далее, шел черед негерманских стран. С этими последними предполагалось не церемониться, а прямо и просто колонизировать их. Например, как не сделать Триест с его портом ключом для будущего германского владычества на Средиземном море? С другой стороны, широкий восточный путь должен был быть проложен чрез Новобазарский Санджак и Салоники для обеспечения германского триумфа в Турции и в Персии. Само собой разумеется, что вновь создавшейся обширной и могучей центральной Европе понадобились бы соответствующие заморские владения; о них также можно было бы прочесть немало поучительного в писаниях крайних пангерманистов, — хотя бы типа **Рорбаха**³¹.

Превосходно. За пределами Германии обычно утверждают, что немцы строили все свои бесчисленные проекты мирового владычества, обуреваемые исключительно своим безудержным национализмом и кровожадным милитаризмом. Я с этим не согласен и снова охотно повторю здесь то, что здесь высказывал уже выше: — они делали это в угоду абсолютным этическим велениям, *повинуясь ясно осознанному моральному долгу*.

О, да:

— Немцы слишком хорошие философы, чтобы не понимать, что если монархия не имеет чисто *морального* оправдания, то она не имеет вовсе никакого оправдания. Следовательно, если они довольствовались все же для своего социального обихода формами почти абсолютной монархии, то это всецело потому, что они усматривали в ней *наиболее моральную форму власти*.

Немцы слишком любили всегда прогресс, слишком были захвачены потоком прогресса во всех областях, чтобы не заметить разительного несоответствия между требованиями политического прогресса и своим вкусом к консерватизму и патриархальности. Следовательно, если они все же упорно стремились осуществлять всякий прогресс

в рамках отживших политических форм, то это — очевидно — по той главной причине, что в старых политических формах и в старых традициях они находили отражение своего морального облика, весьма дорогого для них.

Наконец, немцы всегда были достаточно экономными и благоразумными, чтобы не видеть, насколько расточителен всякий милитаризм и насколько опасен и рискован всякий империализм. Значит, их империализм и их милитаризм навсегда остались бы необъяснимыми для того, кто упускает из виду врожденный *моральный смысл*,двигающий волею немецких людей вопреки всякой экономии и всякому благоразумию.

Не только в области политических дел, но и во всех вообще областях жизни и деятельности *долг*, испытываемый как долг моральный, являлся для немцев до революции главной движущей силой. Лучшее доказательство тому заключается в том неоспоримом факте, что все, что бы немцы ни делали, они стремились делать с предельным совершенством, в качестве безусловных мастеров. И действительно, странно было бы отрицать, что в очень многих отраслях им удалось достичь абсолютного мастерства и остаться вне конкуренции других народов. Достаточно вспомнить об их технике, их науке, их философии, их искусстве, об организации их промышленности и торговли, об их администрации, железных дорогах, об их армии и их шпионаже. Чем же иным, как не *моралью*, доминирующею в немецкой душе над всеми другими социально-этическими двигателями, можно удовлетворительно объяснить силу, энергию, активность и достижения новейшей предреволюционной Германии? А вместе с тем, *не была ли это сама Мораль*, — такая, какой мы ее описали выше с чисто социологической точки зрения — что в 1914-м году захотела воспользоваться услугами могучего немецкого народа и сделаться господствующей движущей силой в жизни каждой из стран и важнейшим базисом консервативного социального режима всего мира?

Вот где, по-видимому, заключен наиболее глубокий смысл идеи «национальной германской миссии»; и, во всяком случае, — вот в чем следует искать наиболее сокровенную

причину мировой войны, начатой немцами. Только в свете теории мировой политики можно, стало быть, впервые понять и смысл этой затрепанной в газетных фельетонах идеи и эту все еще неясную причину.

С поражением и разложением германской империи Гогенцоллернов значительная доля ресурсов потенциального мирового консерватизма оказалась навсегда утраченной для человечества. Тем самым *Право и Политика, в качестве двух из трех социально-этических регуляторов одержали победу мирового масштаба над третьим, — над Моралью.*

Таков в конечном итоге наиболее общий исторический смысл грандиозных событий, завершившихся частично в 1918-м году.

Итак, еще раз: — борясь против империализма Германии, Союзные и Дружественные Державы бессознательно боролись против гения мирового консерватизма и мировой морали.

Спрашивается: каким образом эта их борьба против Морали может быть хоть сколько-нибудь оправдана с двойной точки зрения: этической и социологической?

Ответ — ясен:

— Нами уже многократно отмечалось, что Мораль является лишь одной из трех этических сил, направляющих социальную жизнь людей, но отнюдь не единственной такую силою. Всякий раз, как она пытается действовать за счет двух остальных, она попадает в противоречие со своим собственным назначением и вместо того, чтобы *служить* абсолютной справедливости, *причиняет ей серьезный ущерб*. На примере Германии это видно с полной отчетливостью. Ее «историческая миссия» представлялась ей бесконечно высокой, а ее моральные побуждения бесконечно благородными и чистыми. Поэтому она легко могла дойти до мысли, что все, облегчающее ей выполнение ее задач, хорошо; а все, препятствующее ему, дурно и недопустимо. При всем своем добром желании она не была бы в состоянии выполнить свою миссию сколько-нибудь удачно без посредства насилия *обманов* превращения всех немцев в солдат-автоматов. Ну, значит, все это

позволено, необходимо, а в последнем счете — и морально. Значит, нечего бояться открыто провозгласить *Faustrecht* («право кулака»); нечего уклоняться от признания начал неравенства и господства за основы международного права. Напротив. Нужно делать все возможное, чтобы свести на нет мирные Гаагские конференции. Международные договоры не мешают провозглашать при случае простыми клочками бумаги. А главное, всегда следует быть готовыми к защите и нападению.

Практические результаты подобных рассуждений известны: в течение долгих лет Германия методически готовилась к войнам, изобретая самые страшные, но зато и самые действительные средства вредить врагу.

Так как врагу более всего можно вредить, владея ключами к его тайнам, то она постаралась до небывалого виртуозничества довести свой шпионаж.

Во время войны — стоит ли напоминать — немцы обращались со своими союзниками, как с вассалами и слугами; совершали ужасные жестокости по отношению к военнопленным; обрекали на смерть сотни тысяч своих собственных солдат в угоду успехам мгновенным и незначительным.

Для того, чтобы представить себе, чем была бы в отношении всех своих побежденных врагов Германия-победительница, достаточно вспомнить пресловутый Брест-Литовский мир³², разбивший Россию на куски, отрубивший от нее важнейшие ее конечности и обрекавший ее на рабство экономическое и политическое.

А какое было бы настроение умов у самих немцев-победителей? Почитайте такие книжки, как книжка **Герцога**³³, посвященная торговой германской программе после победы, и вам станет это совершенно ясным. После победы в мировой войне Герцог предусматривал для своего отечества не успокоение на добытых лаврах, не мирное экономическое и культурное строительство, а сплошную коммерческую войну его против всего мира, которую предстояло вести по всем правилам особого военного искусства. Большинство лиц, работающих в области промышленности должно было быть включено в специальную «государственную организацию, подобную организации

армии». — «Будущие торговые трактаты должны бы были быть написаны кровью и носить на себе печать немецкого могущества и немецкой справедливости».

Что же удивительного при таких условиях, что столько государств выступили против Германии? Преимущества политического режима, который она намеревалась предписать человечеству, всем представлялись одинаково сомнительными; никто не жаждал их. Напротив, опасность мирового германского владычества бросалась каждому в глаза и была страшна. И пусть здесь проявлялась *всемирная борьба против возможного самоутверждения Морали в международных отношениях, борьба народов против Германии Вильгельма II являлась естественной и неизбежной*: современное человечество уже неспособно поверить, что *regis voluntas suprema lex esto*³⁴.

III

Обратимся теперь непосредственно к *мировой политике*.

Для нее наиболее интересное и существенное в Германии — как мы ее описали, — это прежде всего ее империализм, затем ее роль консерватора в партийной борьбе народов и, наконец, ее усилия разрешить международную проблему по преимуществу в плоскости Морали. Иначе говоря, изучение предреволюционной Германии в свете понятий мировой политики очень помогло бы нам уяснить одновременно и то, в чем заключается истинное существо *империализма*, — и то, чего империализм требует от народов в качестве программы *мирового консерватизма*, — и то, чем является Мораль в современной международной жизни, и что может ожидать ее потом в качестве основы будущих международных отношений.

Начнем с империализма.

Как термин, термин империализма — один из наиболее употребительных в современном политическом языке. Как понятие, это — одно из самых спутанных и бессодержательных политических понятий.

Для одних, империалистической является политика всех

великих держав; поэтому позволительно говорить о шести, семи или восьми империализмах. Для других, даже быть великой державой не значит непременно вести империалистическую политику; это — удел не более, чем двух или трех самых мощных и самых честолюбивых из великих держав. Третьи, напротив, склонны чрезмерно расширять число империалистических государств, так что в конце концов таковыми оказываются решительно все государства. Говорится, например, о румынском, сербском и греческом империализме.

Сокращение или расширение числа империалистических государств всецело зависит от того, *что берется за отличительные признаки империализма*. Ряд авторов полагает, что вести империалистическую политику могут лишь страны богатые, обширные, сильные, имеющие большое экономическое влияние на другие страны, и высококультурные. Эти авторы, естественно, сокращают в своем представлении количество империалистических государств до предельного минимума. Другие авторы, напротив, открывают проявления империализма в любых усилиях любых государств, направленных на самоусиление и саморасширение. А так как в мире едва ли найдется хоть одно государство, которое не стремилось бы увеличить свои государственно-политические ресурсы, то выходит, что вовсе не может существовать каких-либо неимпериалистических государств.

Весьма по разному оценивается и относительное значение различных элементов империализма. Многие любят попросту отождествлять империализм с обладанием колониями. Социалисты, как Каутский³⁵, усматривают сущность империализма в стремлении промышленных капиталистических государств «подчинить себе и включить в свой состав аграрные области, независимо от национального состава их населения». Очень многие выдвигают на первый план экономическую сторону явления. Империализм является для них экономическим явлением по своему происхождению, по целям, по средствам и по методам. Современная империалистическая политика тяготеет более к экономическому завоеванию мира, чем к завоеваниям политическим. Последние приходят лишь как логический

результат первого. Есть, однако, весьма авторитетные экономисты (из них первый Шульце-Гевебриц³⁶), которые при анализе империализма экономический момент подчиняют моменту психологическому. С их точки зрения, империализм есть прежде всего вера, подвигающая на героические жертвы. Он принадлежит к тем культурным устремлениям (Kulturbestrebungen), которые делают нации великими. Пред лицом этих устремлений политико-экономические требования могут оставаться неудовлетворенными или перестраиваться по-новому. Главное, это — национальная организация, воплощающая высшую культурную ценность.

Лично я предпочитаю говорить не столько об империалистических государствах, сколько об *империалистической политике*. А об этой последней следует, на мой взгляд, говорить лишь в том случае, если ее возможно отчетливо отграничить от некоторых других типов внешней политики государств. Но для того, чтобы империалистическую политику можно было отделить от всякой неимпериалистической, налицо должны быть три основных условия:

1. Она должна обладать особыми политическими ресурсами.
2. Она должна преследовать особые политические тенденции.
3. Она должна применять специфические средства и методы.

Только те страны, политика которых удовлетворяет всем трем перечисленным условиям, могут по праву называться странами империалистическими; и никакие другие. А следовательно, *все существо проблемы империализма сводится к тому, чтобы узнать, какие политические ресурсы, тенденции и методы должны быть выделены из всех остальных, как такие, что в своей совокупности образуют совершенно особый тип государственной политики: империализм.*

Что касается политических ресурсов, то империалистическое государство должно обладать всеми теми,

которыми обладают наиболее великие из современных государств. С принудительной необходимостью оно должно быть очень обширным и изобиловать всем, что требуется для процветания земледелия и главнейших отраслей промышленности. Его промышленность должна быть развита настолько высоко, чтобы оно оказалось вынужденным завоевывать иностранные рынки для своих товаров и приобретать громадные заморские колонии, дабы обеспечивать себя сырьем и предметами питания. Равным образом и его торговля и его финансы должны находиться в цветущем состоянии, а общая его культура и цивилизация должны стоять на предельной для современности высоте и быстро двигаться по пути развития все вперед и вперед. Политический режим в империалистическом государстве не может не проявлять себя устойчивым и с успехом удовлетворяющим основные национальные нужды. Нельзя, конечно, требовать, чтобы он совершенно исключал всякое различие политических взглядов и политических программ. Тем не менее, различия эти не нарушают сколько-нибудь заметно единства национальных вожделений. Наиболее полное национальное единство царит обычно в тех странах, где население связано общностью происхождения, обычаев, нравов и культурных традиций. Отсюда следует, что империалистическое государство есть непременно *национальное государство*, в котором национальное чувство граждан — национализм — представляет собой одну из характернейших сторон их духовного облика.

Обращаемся к *тенденциям* империалистической политики.

В них наиболее достопримечательною мне представляется их двойственность: *неизменно оставаясь глубочайшим образом национальными, они в то же самое время непременно сверх-национальны, т.е. интернациональны.*

Этим я хочу сказать следующее: — всякое неимпериалистическое государство, какой бы минимальной ни была его национальная притязательность, всегда в основе своих устремлений узко эгоистично, националистично. Напротив, вопреки всему своему ненасытному национализму, империа-

листические государства во всякую эпоху выступают носителями стремлений к международному прогрессу, т.е. силами общечеловеческого объединения. И во всяком случае, среди всех мыслимых разновидностей национализма — как раз национализм империалистического государства точнее всего отражается в его международной и мировой программе и остается совершенно непонятным вне этой программы.

Таким образом, *империалистическое государство есть такое государство, которое сознательно стремится разрешить международную проблему одними только своими силами, как специально предназначенное для этой исторической миссии.*

Мне могут возразить, что в известной степени всякое государство, сколько-нибудь значительное, стремится разрешить международную проблему.

Совершенно справедливо. Но именно поэтому-то мы и считаем, что «империалистические» тенденции не представляются единственным признаком империализма. Перед этим мы уже указали другой его признак: — исключительно великие государственные ресурсы империалистических держав, благодаря которым они не только *хотят* по-своему организовать человечество, но и *могут* при случае сделать это.

Теперь же нам остается увидеть третий и последний отличительный признак империализма: — особый характер его средств и методов. Иначе нам могли бы указать на такие великие современные страны, которые и хотели и могли разрешать по-своему международную проблему (проблему политического объединения всего человечества в одно целое), но которые именно в этот момент являлись наименее империалистическими среди всех.

Зато стоит только к особой силе и особой воле империалистического государства прибавить признак его специфических способов действия и методов, как империализм выступит пред нами с полной отчетливостью.

Каковы же способы действия и методы империализма?

Мы уже говорили о них. Это: — насильственное навязывание одной нацией всем остальным своей единоличной

воли, подчинение ею себе некоторых стран с помощью прямого и открытого принуждения, религия силы и неравенства, милитаризм; и в особенности войны, войны, войны...

Таким образом, формула империализма, наиболее краткая и вместе с тем наиболее правильная, может быть дана в следующих словах: *это политическая программа великого народа, который, обладая максимальными государственными ресурсами, считает себя предназначенным за свой страх разрешить международную проблему методами принуждения и войн.*

После всего того, что мы знаем теперь относительно империализма, мы вправе усматривать в нем адекватное выражение *программы мирового консерватизма.* Вот почему, при желании, можно подменить термины и вместо того, чтобы спрашивать об условиях, необходимых всякому империализму для осуществления поставленных им себе задач, можно спросить *об условиях, при которых консервативная мировая программа оправдала бы себя с двойной точки зрения — исторической и этической.*

Не будем повторять того, что уже нами излагалось однажды и что имело непосредственное отношение ко всякому вообще консерватизму. Скажем коротко: для торжества мирового консерватизма нужно чтобы осуществление его задач было поручено своего рода новой Германии, но только еще во много раз более сильной, богатой, великой, культурной, националистичной, милитаристичной, традиционалистской, религиозной, моральной, притязательной и заносчивой, чем такую была недавняя Германия Вильгельма II. Необходимо, далее, чтобы все остальные страны не были ни сильны, ни богаты, ни культурны, чтобы они совершенно не имели национального самолюбия и в решительный момент новой мировой войны отказались бы от всякой самозащиты, предпочтя ей долгие периоды порабощения или подчинения.

Если где-нибудь на свете существует такой ультра великий «избранный народ», пусть он дерзает. Если, с другой стороны, все остальные народы вместе, действительно, ровно ничего не стоят по сравнению с ним, пусть они и не думают

ни о каком сопротивлении, а подчиняются беспрекословно: так будет несравнимо лучше для всех.

По счастью, действительное положение вещей совсем иное сейчас.

Сейчас, после военного поражения Германии в конце 1918 года, не только не найти государства в десять раз более империалистичного, чем она была еще недавно, но даже не найти и мало-мальски похожего на нее по силам и устремлениям. Кое-кто, быть может, и не прочь был бы взять с нее пример, да нет достаточных данных. У других, быть может, нашлись бы и нужные ресурсы, да нет желания дерзать и рисковать. А главное, ни при каких обстоятельствах общая семья народов не согласилась бы проявлять себя беспомощной и безответной пред лицом новой Германской империи нового Вильгельма II.

И все же предположим на мгновение, что эта новая Германия неожиданно создалась где-то в Европе, в Америке или в Азии и что она решила навязать свою программу всемирной организации всем остальным народам. Если бы ей это удалось, то — несомненно — при том только главнейшем условии, что основным этическим двигателем ее была бы *Мораль* со всем, что с нею связано. Успех ее сам собой открыл бы широкий путь к тому, чтобы вся последующая международная жизнь начала разворачиваться преимущественно под знаком моральных импульсов.

Но тогда возникает вопрос: — краток этот путь или долог? — Легок или труден? Или — иначе: достаточно ли было бы полной победы одного империалистического государства над всеми остальными для того, чтобы в будущем вся жизнь человечества управлялась преимущественно с помощью моральных сил и норм абсолютных, или же для этого понадобилось бы предварительно выполнить ряд каких-то других условий?

Таков последний из вопросов, связанных с этико-социологической критикой империализма.

На мой взгляд, ответ на него должен быть без колебаний дан в смысле второй альтернативы. *Мировое господство некоего великого «морального» государства не сделало бы тотчас же моральными все вообще отношения между*

государствами. Для того, чтобы вся совокупность бывших независимых государств оказалась в состоянии подчиняться прежде всего моральным двигателям (в своих отношениях друг к другу и к общему поработителю), ей понадобилось бы прожить длинный исторический период, в течение которого все без исключения благоприятствовало бы развитию и укреплению *международного морального смысла*. Понадобилось бы также, чтобы все народы выработали в себе одинаковую религиозную концепцию государственной власти, чтобы в их среде ярко стал проявлять себя дух пассивного повиновения, чтобы этот дух повиновения постепенно трансформировался в прочную священную традицию.

И это далеко еще не все.

Было бы совершенно необходимо, чтобы новое положение вещей начало постепенно восприниматься, как одинаково выгодное для всех и чтобы под водительством — *отныне отеческим* — «избранного народа» все остальные народы сделали бы более или менее богатыми, счастливыми и быстро двигались бы по пути культурного прогресса. — В заключение они правильно и ко всеобщей радости поделили бы между собою культурный и производительный труд, так что одни стали бы почти исключительно земледельческими народами, другие — промышленные, третьи — торговыми, четвертые и пятые — нациями правителей, ученых, артистов...

Однако, довольно... Началась уже область фантазии.

От нас требовалось лишь указать наиболее общим образом, что для торжества консервативной программы и морального начала в международных отношениях (за счет начал правового и политического) необходимо наличие целого ряда почти неосуществимых условий.

Укажем, впрочем, еще одно из них, последнее и наиболее трудное: необходимо, чтобы тяжкие последствия недавней мировой войны перестали давать себя знать и чтобы беспримерный международный хаос теперешних дней вдруг оказался не более как плодом чьего-то испуганного воображения. Не правда ли? — ведь, таково основное требование всякой консервативной политики: она с успехом может применяться только там, где государственные дела идут благополучно, социальный механизм работает правильно и все основания общественной жизни представляются наилучшими из

возможных и наиболее солидными. Следовательно, выходит, что сначала придется восстановить международный порядок, а потом уже готовить почву для мировой консервативной программы, моральной и империалистической.

Однако, — если международный и мировой порядок способен восстановиться без империализма, зачем же мучиться тяготами империализма? Если международная жизнь способна прогрессировать без предварительного создания особой международной морали, зачем мечтать об этой морали, так трудно достижимой, зачем столетиями работать в жестоких страданиях над ее созданием? По средствам ли человечеству лелеять идеал международной Морали в качестве главной основы мировых общественных отношений, и не обманчив ли этот идеал?

Тем, кто так любит судить и осуждать Германию и Вильгельма II, я предложил бы подходить к ним именно с этой точки зрения.

Виновность их несомненна:

Германия и Вильгельм II виновны в том, что сочли достаточным быть *моральными* и служить моральным целям, чтобы решительно все их действия были затем этически оправданы ими самими.

Германия и Вильгельм II виновны в том, что предприняли грандиозную работу по переустройству всего мира с помощью таких методов, которые заранее обрекали их на неудачу.

Главная же вина Германии и Вильгельма II — в их консерватизме, империализме и утрированном национализме.

Да, да: историческая виновность Германии и Вильгельма II велика и несомненна. Однако, я не хотел бы на этом заявлении ставить точку. Следует еще посмотреть, *в какой мере* позволительно вменять им их вину и в чем заключаются для них смягчающие обстоятельства. Только тогда мы сумеем извлечь для будущего времени все поучительное, что заключено в историческом примере их честолюбивых заданий и в их трагической судьбе.

Что же увидим мы при этом?

Как бы ни были ошибочны политические планы немцев, это были планы грандиозного масштаба, рожденные творческими силами души великого народа.

Немецкий национализм, как мы только что сказали, был одним из главнейших источников трагических немецких ошибок. Но это был национализм, толкавший на великие замыслы и ставивший себя на службу могучих целей. Он был насквозь пропитан отравой милитаризма, но и сам этот немецкий милитаризм имел за себя серьезные исторические обоснования и оправдания. И несомненно, — только те из остальных народов могут с достаточным правом судить и осуждать немцев, что сами живут историческими планами не меньшей грандиозности, чем немецкие, но при том лучшими и более справедливыми; — а для осуществления этих планов располагают силами большими, чем обладали немцы, да еще правильнее применяют и направляют их. Иначе говоря, немцев можно было бы безоговорочно осудить лишь в том случае, если бы кто-либо другой из наиболее великих народов предпринимал одновременно с ними иные — лучшие и легче осуществимые — попытки политической реорганизации мира, а немцы им помешали.

Увы, ни одной такой попытки своевременно не было сделано, если не считать тщедушных и двуличных Гаагских мирных конференций, не сумевших не только разрешить, но и понять стоявших перед ними великих задач.

Наконец, если самую основную из всех немецких ошибок считать желание Германии сделать Мораль главнейшим двигателем всех мировых политических отношений, то совершенно необходимо, чтобы остальным нациям посчастливилось одно из двух: либо таким двигателем вместо Морали с успехом сделать Право или Политику, либо даже установить правильную гармонию между всеми тремя социально-этическими двигателями — Моралью, Правом и Политикой; гармонию, которая одна способна обеспечить безусловное торжество справедливости среди людей и народов.

В процессе борьбы против Германии остальных народов, и благодаря этой борьбе, попытки разрешить международную проблему преимущественно на началах Права и Политики были сделаны, наконец. Я имею в виду во-первых, американскую попытку превратить мир в единую *Лигу Наций* и, во-вторых, русскую попытку в *революционном*

порядке перестроить все внутригосударственные и между-
государственные отношения, нераздельно слив их воедино
и установив на совершенно новых принципах.

Об американской попытке и об Америке ---- в ближай-
ший час, об русской --- в последующие часы.

МИРОВОЙ ЛИБЕРАЛИЗМ. АМЕРИКА И ВИЛЬСОН.

I

Здесь нам предстоит иметь дело с Правом в качестве второй из трех основных социально-этических сил.

Отличительные признаки Права и его функции весьма сильно разнятся от тех, что в предыдущей главе мы видели при анализе Морали. Начать с того, что оно не претендует ни на какое божественное или сверхъестественное происхождение.

Истинный создатель права сам человек.

Он его творит, то в форме закона, то в форме договора. Можно сказать поэтому, что право есть постольку Право, поскольку в основе своей оно является либо законом, либо договором, соглашением. Обратного же утверждать нельзя, — так как ни один закон и ни одно соглашение не обнаруживают никаких свойств Права до тех пор, пока они не установлены в строго определенном формальном порядке.

Условному, относительному происхождению Права соответствует *относительный характер его норм.*

В принципе всякая юридическая норма обусловлена временем. Разумеется, никому нельзя запретить толковать о праве «незыблемом», «нерушимом» и «вечном»; однако, всеми подобными эпитетами может высказываться лишь то, что право остается таким, каково оно есть, впредь до его отмены в определенном порядке. Не более. Иначе получаются весьма крупные теоретические и практические ошибки.

Относительная сущность правовых норм проявляется не в одной только временности их существования, впредь

до отмены. В гораздо большей степени она проявляется в том, что они отнюдь не притязают воплощать веления высшего, абсолютного Добра, или высшей, абсолютной Справедливости. Нет, это совсем не задача Права. Это задача Морали, как мы уже знаем. Право же, напротив, выступает на сцену по преимуществу как раз тогда, когда или вовсе нет подходящих абсолютных норм, или когда они неприменимы к данному конкретному случаю. Главная же его задача заключается обычно в том, чтобы *среди нескольких возможных правил поведения выбрать и признать за обязательное одно какое-нибудь за счет всех остальных.*

Благодаря всем этим своим свойствам, Право выступает не как совокупность суверенных предписаний, но как известная *искусственная равнодействующая противоположных воль и несогласимых убеждений.*

В очень многих случаях юридическим постановлениям повинуются против своего желания. Однако, Праву довольно безразлично, что люди думают о нем или что им подсказывает внутренний голос их совести. Все, что ему надо от людей, — это лишь то, чтобы *внешнее поведение* их согласовалось с его постановлениями. И оно внимательно следит за тем, чтобы постановления его выполнялись аккуратно. В этой цели правовые нормы снабжены в подавляющем большинстве случаев *принудительной санкцией*; — т.е. всякий, нарушивший Право и уличенный в том, несет за свое нарушение соответствующее наказание. Таким образом, всякий правовой порядок покоится на внешнем принуждении. Принуждение и наказание, суд и полиция всегда и всюду являются главнейшими орудиями защиты права против посягательств на него. Отсюда следует, что главная стихия Права, лучшая среда для его самообнаружения, есть *государство.*

Чем лучше организовано государство, тем успешнее осуществляет оно функцию принуждения и наказания. Но вместе с тем, чем лучше организовано государство, тем больше оно связано в осуществлении этой своей функции. Оно не может принуждать и наказывать по произволу.

Здесь ему положены определенные границы и границами этими служит *свобода* людей. Ведь, обеспечивать взаимную свободу людей — главнейшая обязанность государства; поэтому и принуждать и наказывать государство должно в идеале лишь постольку, поскольку то необходимо ради обеспечения общей свободы.

Там, где людям приходится сталкиваться с принудительным воздействием на них, необходимо, чтобы они знали заранее, что они могут делать и чего не могут. Необходимо также, чтобы наказание нарушителей права было пропорционально величине их преступления. Благодаря этому, для Права становится неизбежным точное и детальное изложение всех его предписаний, равно как наиболее подробное обозначение того, какому преступлению соответствует какое наказание.

И вот, начиная с этого момента, Право оказывается уже не в состоянии обойтись без увесистых кодексов и без ученых юрисконсультов. С принудительной необходимостью всякое развитое право превращается в право писаное. Высшим его достоинством становится точность. Главная его забота сводится к тому, чтобы предусмотреть решительно все случаи того, что должно и что не должно считаться запрещенным и влечь за собой кару.

Но действительно ли *все* возможные случаи? Без исключения? Даже и те, которые целиком касаются лишь отдельного (изолированного) человека и совершенно безразличны решительно для всех остальных людей?

О, нет; Право так далеко не заходит. Оно стремится обслуживать человеческое общество и не имеет никаких других функций, кроме функций социальных. Следовательно, *его интересуют исключительно лишь явления социальной жизни людей*. Оно заботится об ее *удобствах*. Об удобствах оно заботится, в сущности, даже и тогда, когда ратует за свободу. И не ради ли этих удобств, обеспечиваемых и защищаемых им с помощью свободы, люди соглашаются выносить его многочисленные несправедливости и тяготы его принуждения?

В соответствии с природой и основным социальным назначением Права складывается особая *правовая психо-*

логия людей; — та самая, что в очень многих случаях играет роль главной движущей пружины всего их поведения.

Чтобы действовать строго определенным образом, — сплошь и рядом вопреки своим прямым интересам, — человеку с правовой психологией вовсе не нужно прислушиваться к голосу своего морального сознания. Есть писанные законы, которые определяют все. Существуют законные власти, которые установили данный социально-политический режим и которые в случае надобности могут его изменить. Человеку надлежит лишь сообразоваться в своих действиях с существующими законами и больше от него решительно ничего не требуется. Если в результате покорного выполнения законов случится что-нибудь весьма несправедливое, человек не должен этим смущаться. Никто за это не ответственен персонально; вина здесь падает на самые законы, безличные и абстрактные. И наконец, как бы ни было временами несправедливо точное исполнение предписаний данной правовой системы, в среднем ее нормы непременно согласуются с требованиями свободы и справедливости. Иначе эта правовая система не могла бы держаться и непременно изменилась бы в порядке легальном или насильственном.

Таков отправной пункт всякой в основном своем существе *правовой* психологии. Как и психология моральная, она также может играть роль главного внутреннего двигателя не только в поведении отдельных людей, но и в поведении целых народов.

Что требуется для этого?

Для этого требуется наличие целого ряда специальных условий, по смыслу своему диаметрально противоположных условиям моральной психологии народов. Там требуется, чтобы между самым отдаленным прошлым народа и его настоящим сохранялись наиболее крепкие и живые связи. Здесь, напротив, необходима известная *грань*, отделяющая прошлое от настоящего, некоторый — не слишком, правда, большой — *разрыв* между ними. Там каждый должен иметь привычку уважать моральные предписания в качестве норм неизменных, божественных, абсолютных. Здесь приходится подчиняться нормам условным и несовершенным, вовсе не обращая внимания ни на их условность, ни

на их несовершенство. Народы, наделенные по преимуществу моральными чертами характера, слепо повинуются предписаниям, ни в какой мере не зависящим от них самих. Напротив, народы с правовой психологией прекрасно сознают, что это их собственная свободная воля является истинным источником всех обязательств и обязанностей социального порядка. Высший принцип народов моральной психологии это — *долг*. Высший принцип народов с правовой психологией — *свобода*. Моральный характер народа несравнимо легче поддерживать и сохранять, чем намеренно создавать. Напротив, свой правовой характер народы должны воспитывать преднамеренно и сознательно, постоянно подменяя в нем черты другими, постоянно пополняя его все новыми и новыми «правовыми» чертами.

Как только правовая природа того или иного народа взяла в нем верх над моральной природой, так сейчас же весь стиль его жизни испытывает коренные изменения. Вкус к абсолютному уступает место вкусу к относительному. Слишком возвышенные цели больше не увлекают его. Отныне это уже не народ, одухотворенный великой религиозной идеей и даже не народ мыслителей и поэтов. Он уже не желает жить ради выполнения какого-то высшего предназначения. Жажда самопожертвования его тоже не томит. Искусство, наука, этика и религия все более приобретают для него второстепенное, служебное и подсобное значение. Зато внешний комфорт, материальное благополучие и технический прогресс становятся для него жизненными центрами, к которым тяготеют все его интересы и которые поглощают всю его творческую энергию. И это, ведь, так естественно: — разве старые идолы не были разбиты им с единственной целью сделать жизнь более легкой и приятной? И не потому ли всецело удалось разбить эти старые идолы, что он сумел проявить себя в нужные моменты достаточно трезвым, практичным, *terre à terre*³⁷?

Весьма большое значение имеет с этой точки зрения природное предрасположение народов. Не все народы одинаково способны заменить в своем сердце девиз: — «долг прежде всего» — другим девизом: — «свобода прежде всего». Очевидно, это несравнимо легче для тех народов, у которых любовь к свободе что называется в крови.

Чрезвычайно существенно также для превращения национального характера народа в правовой, чтобы постепенно все основные условия его жизни претерпели серьезные изменения. В особенности существенно, чтобы его отношения с другими народами не заставляли впредь неустанно думать о войнах и чтобы культ силы и хитрости перестал быть главным средством его самозащиты от врагов.

Чтобы закончить наше противопоставление народов с правовым характером и народов с характером моральным, отметим, что первые в такой же мере склонны к *эволюции*, в какой вторые находятся во власти традиции. Первые, таким образом, оказываются народами быстрого *социально-политического прогресса, народами-либералами*; вторые же — народами-консерваторами. И в конце концов несомненно, что всякий быстрый, постепенный и последовательный общественный прогресс лучше всего совершается в лоне народов, обладающих именно правовой психологией.

В современных условиях народ правовой психологии, народ-прогрессист или либерал, это прежде всего *республика*, основанная на принципе *народного суверенитета*, конкретно проявляющегося в *формальной воле большинства*. Далее, это — *культ демократизма и равенства, высоко развитое народное представительство*, пылкий, но лишенный шовинизма патриотизм. В области международных отношений — это народ, преисполненный стремлений к *миру*, не склонный вмешиваться без достаточных оснований в чужие дела, охотно идущий на заключение с другими народами *соглашений и союзов* (вплоть до создания Лиги Наций даже), преимущественно на *началах международного равенства и самоопределения народов*.

Взятый под историческим углом зрения, народ с достаточно выраженной правовой психологией представляется таким, который рос и укреплялся не столько при помощи войн и завоеваний, сколько при помощи мирных соглашений, заселения незанятых земель, покупки и обмена территорий. Для того, чтобы мирное объединение частей государства, некогда независимых, могло произойти, необходимо, чтобы все эти части испытывали перед тем

какую-то общую опасность, ради избежания которой им лучше всего было пожертвовать своею независимостью. И эта опасность должна давать себя знать достаточно долго уже и после образования нового — по преимуществу, федеративного — государственного соединения: для окончательного установления нового национального единства нужно время.

В чисто психологическом отношении такой народ-либерал или прогрессист отличается от всех остальных прежде всего своей любовью к организованному индивидуализму или к широкой индивидуальной свободе, совершенно заслоняющей в нем как привычку к пассивному повиновению, так и вкус к возмущениям и восстаниям. Вместе с тем, — несравнимо более реалист, чем идеалист, — народ правовой психологии превосходно умеет удовлетворять свои хозяйственные нужды. Его промышленность находится в цветущем состоянии; его земледелие, финансы и торговля — предмет зависти соседей. Не потому ли все это, что экономические интересы, — быть может, незаметно для него самого — стали главным рычагом всей его политики и главным полем для игры его национального самолюбия?

По моему мнению, наиболее законченное воплощение народа-либерала или народа-прогрессиста с правовой психологией являет собой в нашу эпоху народ Северо-Американских Соединенных Штатов.

На нем мы теперь и сосредоточим наше внимание.

II

Во второй половине XVIII-го столетия Англия владела по ту сторону Атлантического Океана чрезвычайно обширными колониями. Население этих колоний составлялось, по преимуществу, из выходцев с европейского континента. Одни из них покинули Старый Свет, побуждаемые страстью к авантюрам, других влекло за Океан недовольство политическим положением в их первом отечестве или религиозные преследования. Третьи

спасались от излишней внимательности к ним отечественных уголовных законов и судебных властей. Так или иначе, но всякий, вступавший тогда на американскую землю, искал для себя и для других *новых условий общественной жизни*. Каждый приносил с собой туда долю обычаев и привычек своей родной страны и вместе с тем каждый был готов уважать привычки, обычаи и нравы всех остальных стран. Получалась весьма пестрая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний. Не напрасно же один из американских историков утверждает, что первоначальные американские колонии были настолько непохожи друг на друга решительно во всех отношениях, что несравнимо легче отмечать черты их взаимных отличий, чем черты их сходства.

Не сделалось вполне однородным население Северной Америки и в позднейшее время. Вплоть до самой войны иммиграция играла первостепенную роль в деле увеличения числа ее граждан. И кто только не иммигрировал в Америку. Немцы, ирландцы и итальянцы переселялись в нее толь в толь так же, как и поляки, евреи, чехи, венгры, китайцы и т. д., и т. д. Были года, когда общее число иммигрантов достигало 2 500 000. Едва ли не половина современного населения Соединенных Штатов является американцами всего лишь в третьем поколении.

В образовавшемся подобным образом населении Америки напрасно было бы искать элементов т. наз. «зоологического национализма». Национализм, точнее патриотизм, существует в современной Америке, но он имеет совсем иную природу и иные предпосылки, чем национализм и шовинизм большинства европейских народов.

Прежде чем образовать одно федеративное государство, состоящее из нескольких отдельных независимых государств, американцы жили в небольших колониях-общинах.

Не войны и не завоевания, следовательно, послужили основой для образования будущей великой американской республики, а по преимуществу мирные соглашения, постепенно объединявшие маленькие политические единицы во все более и более крупные, неизменно к общему благу всех договаривавшихся. Объединиться для американцев не означало, однако, потерять какую-либо часть своих индивидуальных свобод. Напротив, всякое новое

объединение неизменно приносило им новые выгоды и открывало для них новую свободу.

Так, в 1778 году американскими Штатами был заключен договор, превративший их в конфедерацию (союз государств). С этих пор для них открылась возможность совместно направлять свою внешнюю политику, разрешать взаимные споры в высшем третейском суде, иметь единую монетную систему, организовать Конгресс с равным представительством всех Штатов. Лишенный исполнительной власти, Конгресс, не обладал, однако, достаточным реальным авторитетом. Жизненная необходимость подсказывала дальнейшее уплотнение политических связей между членами союза, и вот через девять лет, в 1787 г., американские Штаты из конфедерации превратились в федерацию, из союза государств в единое союзное государство. В каком же порядке произошла эта новая трансформация Америки? Она и на этот раз произошла в порядке мирного преобразования и на основе нового добровольного соглашения; а вместе с тем — она лишней раз обнаружила дух взаимного уважения, уступчивости, равенства и в особенности свободы, неизменно отличающий население американских Штатов. Снова был достигнут крупный политический прогресс, создавший мощную государственную власть, но не давший ей больше прав в отношении индивидуума, чем раньше.

Отметим также, что и все последующее увеличение числа штатов великого американского Союза происходило почти исключительно лишь мирными путями. Много новых территорий вошло в союз по собственной воле. Много других было уступлено ему Англией. Многие были куплены им у Испании, Франции, Мексики, России. В итоге — вместо тринадцати первоначальных звездочек, указывающих на национальном американском флаге количество Штатов в Союзе, их ныне сорок восемь на нем.

Несмотря на разницу происхождения американцев, на недавность пребывания очень многих из них в своем новом отечестве, на различие условий их жизни, — уже очень давно с полным правом можно говорить об единой американской нации, как о крепком, целостном и своеобразном духовном организме. И эту американскую нацию

в первую очередь создал «американизм», особый «американский дух», любовь к политической свободе и приверженность к определенному порядку основных политических принципов.

Что же это за принципы?

Мы встречаемся с ними уже в знаменитой декларации, подписанной на борту пакетбота «Mayflower»³⁸ будущими основателями Новой Англии. Еще ярче они обнаруживаются в Великой Хартии³⁹ и в конституционных актах 1778 и 1787 гг. Наиболее основоположный из всех этих принципов можно, на мой взгляд, формулировать следующим образом: — *государство существует ради личности, а не личность ради государства*. Полнота личных прав гражданина и предельная его свобода, не нарушающая свободы других, есть всегда тот предел, который не смеет перейти никакая власть, в том числе и власть парламента. Отсюда вытекает, что принцип «народного суверенитета» в качестве основы американской государственной идеологии ни в какой мере не равнозначен с признанием абсолютного всемогущества народного представительства, осуществляющего законодательную функцию. Большинство решает и направляет государственную жизнь страны, но оно не имеет права посягать ни на свободу меньшинства, ни на свободу личности. Одной из характернейших черт американской конституции является то, что высшая судебная власть в стране обязана следить за тем, чтобы никакой закон не был в противоречии с конституцией, а следовательно — с тем основным принципом, который только что указан нами.

Итак, с полным основанием можно утверждать (как то и делают порой сами американцы), что американское понимание государства, американская публично-правовая концепция, характеризуется в первую очередь его *индивидуализмом*. Индивидуализм же этот со своей стороны есть не что иное, как выражение любви американцев к свободе. Первый не может обойтись без второй; нет свободы там, где отрицается чужая индивидуальность, как не возможен индивидуализм в среде людей, допускающих свободу только лично для самих себя.

Взятые несколько с иной точки зрения, те же индивидуализм и свободолюбие американцев с наглядностью обнаруживают, насколько в существе своем *относительны* для них нормы, определяющие бытие их государства и требующие от них точного выполнения. Американец лоялен не потому, что предписания его законов представляются ему абсолютно справедливыми, но потому, что это американские, т.е. его собственные законы. Они обязательны для него прежде всего потому, что он сам принимает и утверждает их. А если он их однажды принял и утвердил, то только потому, что они соответствуют его идеалу свободной общественной жизни. К тому же, американские законы принудительно защищаются и охраняются всеми государственными силами Союза (снабжены принудительной санкцией), так что их нельзя нарушать без риска испытать на себе противодействие этих сил.

В согласии с американским представлением о государстве Соединенные Штаты Северной Америки являют собой федерацию республик. Конституции каждой из этих отдельных республик (штатов) и их общая федеральная конституция покоятся на принципах публичного права, представлявшихся американцам наиболее *прогрессивными* и наиболее обеспечивающими свободу всех и каждого.

Нам здесь нет необходимости останавливаться на изложении основных элементов американского государственного права. Мы несравненно лучше уясним себе *правовой* в своей внутренней сущности национальный характер американцев, если вместо этого остановимся некоторое время на организации и функционировании политических партий в их стране.

С давних пор в Соединенных Штатах существуют две большие конкурирующие партии: — республиканская и демократическая.

Обе эти партии формируют политическое общественное мнение Америки и в качестве грандиозных политических агентств определяют все американские выборы — административные, парламентские, президентские. Ни одна из них не может считаться политически более отсталой или более передовой, чем другая; да и вообще они не отли-

чаются друг от друга достаточно резко и определенно своими принципами и своей программой. По привычке или в силу разницы темпераментов — так отмечают компетентные наблюдатели американской политической жизни — за кандидатов враждебных партий сплошь и рядом вотируют люди, совершенно согласные между собою по большинству важнейших вопросов.

Почему же, в таком случае политические партии существуют в Америке?

Они существуют по многим причинам.

Во-первых, американские граждане должны периодически выбирать слишком большое количество чиновников разного рода, чтобы быть в состоянии делать это без всякого специального посредничества. — Затем, для американца — занимать какой-либо административный пост или быть депутатом есть такое же «дело» и такое же «положение», как всякое другое. Однако, как же войти в состав администрации или в парламент, не пользуясь услугами особых агентств по фабрикация списков и по производству выборных кампаний? — С другой стороны, раз только нужда в политических агентствах стала давать себя знать, создание их естественно должно было представиться предприимчивому американскому уму, как новый сорт «дела» или «предприятия». — И наконец, наиболее существенное: каждый американец слишком погружен в свою личную деловую жизнь, чтобы находить еще время внимательно следить за ходом кропотливых политических дел. А между тем, политика для него такое же дело, как всякое другое, и потому ему нужно отдаваться целиком и быть в нем специалистом. Это значит, что заниматься ею должны политики-профессионалы, неразрывно связывающие себя с целым аппаратом данной политической партии, знающие тайны их комитетов, поставляющие в них их «bosses»⁴⁰ и не пугающиеся их нравов, далеко не во всем строгих, (чтобы не сказать более определенно). Вместе с тем все это значит, что политические партии нужны в Америке и как обширные предприятия делового характера, и как почти официальные политические установления, *освобождающие американцев от обязанности быть политиками.*

Что же удивительного при указанных условиях, что отношение к политикам и к политическим партиям

в Америке совершенно не то, к какому привыкла Европа? Там они не только не пользуются большим уважением, чем представители других профессий или других «предприятий», но, пожалуй, даже меньшим. Как же возможно в таком случае, что им доверяются судьбы страны? Почему подобное положение вещей не приводит страну к быстрому политическому упадку и к политической гибели? Удовлетворительно ответить на эти вопросы может только тот, кто не упускает из виду главного условия, на котором политическое влияние закреплено в Америке за политическими партиями. А условие это состоит в том, что партии обязаны действовать в строгом согласии с конституцией, — я сказал бы даже: во исполнение конституции, — т.е. *в строгих пределах установленного права*. При такого рода условии вполне понятно, что господствующие политические партии Америки не отличаются одна от другой сколько-нибудь значительным образом. При всей своей относительности, Право — охранитель свободы — является для американцев их высшим социально-этическим достоянием. Они прекрасно обходятся без абсолютных этических предписаний, потому что их национальный характер довольно безразличен ко всему абсолютному. Вместе с тем они и не настолько релятивисты в социально-этическом отношении, чтобы быть по преимуществу политиками; — более релятивистическая, чем они это любят, политика — как сказано — в представлении американцев есть дело специалистов. Напротив, каждый американец обязан в области социальных отношений крепко стоять на почве права, т.е. совокупности норм не вечных и не мгновенных, но таких, которые при достаточно углубленном понимании слова «относительный» лучше всего назвать относительными.

Впрочем, для того, чтобы вполне ясно усвоить себе, каким образом относительная концепция государства может стать солидной основой государственного порядка, необходимо сделать еще один шаг вперед. Необходимо признать, что индивидуализм, либерализм и релятивизм «правового» характера американцев неотделимы в них от их уважения к социальному началу *равенства*. И это вполне последовательно: — всякий истинный индивидуалист не может

принимать индивидуальность всякого другого лица иначе, как на основе равенства. Свобода, не признающая равенства, не есть свобода. Наконец, и само Право, в котором равенство не является одной из самых основных предпосылок, должно неминуемо уступать место или аристократичной и иерархичной Морали, или же сложной и изменчивой Политике.

Что же касается специально американцев, то для них равенство является движущим началом всей социальной жизни. Они горды своим демократизмом, потому что он служит для них прямым выражением их любви к равенству. Они любят равенство, потому что без него не было бы никакого демократизма.

Стремление их к равенству проявляет себя не только в равенстве прав американских граждан, или в равном представительстве всех американских штатов в американском сенате; оно проявляет себя также — и это несравнимо более показательно — в области внешней политики соединенных Штатов.

Чтобы не приводить многих примеров, напомним лишь о той позиции, которую великая заатлантическая республика заняла в конфедеративном панамериканском движении, — в «панамериканизме».

В 1881 году государственный секретарь Соединенных Штатов, **Джемс Блен**⁴¹, разослал всем правительствам американского континента циркулярную ноту с приглашением на конгресс в Вашингтоне. Как на цель конференции, в ноте указывалось на установление тесного взаимного сотрудничества всех народов обеих Америк, а в особенности на устранение возможности войн между ними путем введения третейского международного суда. Нота прибавляла, что Соединенные Штаты с самого начала отказываются играть роль «советчика» в отношении других американских государств и охотно соглашаются выступать со всеми ними «на равной ноге». Четверть века спустя на третьем панамериканском конгрессе в Рио-де-Жанейро почетный председатель конгресса и государственный секретарь Соединенных Штатов, **Э. Рут**⁴², заявлял: — «Мы (американский народ) полагаем, что независимость и равенство прав наиболее слабых членов в семье народов

должны уважаться так же, как и у самых великих империй; а в сохранении этого уважения мы усматриваем главнейшую защиту слабого от угнетения со стороны сильного. Мы не требуем и не желаем прав, привилегий и полномочий, которых сами мы целиком не признавали бы за каждой из американских республик. Мы хотим увеличить наше благосостояние, расширить нашу торговлю; мы хотим нового богатства, знания и славы. Однако, наше представление о лучшем пути к достижению подобных целей сводится не к тому, чтобы уничтожать других и выигрывать от их гибели, но чтобы в деле общего процветания помогать всем, как друзьям, и чтобы всем вместе становиться больше и сильнее».

С первого взгляда нелегко установить близкое сходство и тесную идейную связь между приведенными декларациями **Блена** и **Руа** и знаменитой «доктриной **Монро**»⁴³, общепризнанной официальной основой всей внешней политики американских Соединенных Штатов в течение многих десятилетий. А между тем, именно эта классическая американская доктрина с наибольшей верностью отображает правовой национальный характер американцев, в одно и то же время тяготеющей к равенству, к индивидуализму, к прогрессу и бессознательно предпочитающей относительное абсолютному.

Изложенная в очередном послании к конгрессу от 2-го декабря 1823 года пятого президента республики **Джемса Монро**, доктрина эта требует прежде всего, чтобы в будущем американские территории, ставшие свободными и независимыми, не превращались в колонии европейских держав. Соединенные Штаты не вмешивались никогда и не будут никогда вмешиваться в европейские войны; точно также они никогда не станут вмешиваться во внутренние дела европейских стран. Они будут рассматривать как законное всякое существующее правительство. Они постараются установить и поддерживать со всеми державами дружеские отношения посредством политики открытой, твердой и мужественной, всегда считаясь с законными притязаниями всякого народа, но и не допуская ни с чьей стороны несправедливости

по отношению к себе. К самозащите Соединенные Штаты стали бы готовиться только в том случае, если бы их права подверглись серьезной угрозе или им было бы нанесено оскорбление. Политический режим в европейских странах совершенно отличен от того, который в Америке удалось установить ценою весьма тяжелых жертв. Поэтому всякие попытки европейских государств распространить их политические принципы на какую-либо часть Западного Полушария рассматривались бы Соединенными Штатами как опасные для их мира и благополучия.

Действительно, к моменту провозглашения только что изложенной доктрины между демократическими Соединенными Штатами и европейским Священным Союзом, легитимистским и реакционным, не было решительно ничего общего. Естественно, что они стремились самым решительным образом защитить себя от проявлений милитаризма и аннексионизма Старого Мира. Слишком еще слабые в ту эпоху своей истории для того, чтобы вовсе не обращать внимания на намерения Европы, они вместе с тем чувствовали уже в себе достаточно сил, чтобы заставить ее считаться с принципами их внутреннего политического устройства. Задача их весьма сильно облегчалась географической отделенностью и удаленностью Америки от Европы. Океан, который так трудно было переплыть в первую четверть XIX-го века, был, в сущности, главным покровителем американского демократизма. Основатели современной Америки отдавали себе в этом совершенно ясный отчет и, по-видимому, были бы еще более рады, если б безграничное водное пространство совершенно и раз навсегда отделило Новый Свет от Старого. Так, в 1797 г. Джефферсон⁴⁴ мечтал об «огненном океане» между двумя материками. С годами мечта превратилась в пророчество: — «Недалек день — предсказывал он почти четверть столетия спустя, — когда мы формально проведем по океану пограничный меридиан, разделяющий оба полушария; по эту сторону меридиана никогда уже не будут слышны европейские выстрелы, а по ту сторону никто не услышит американских».

Однако, если бы между обоими полушариями лежали в самом деле непреодолимые преграды и Европе с Америкой не было бы никакого решительно дела друг до друга,

то могло ли бы федеративное движение в Северной Америке так легко и быстро завершиться образованием великого федеративного государства? Не остались ли бы в таком случае тринадцать колоний, образовавших тринадцать штатов первоначального Союза, навсегда разъединенными? И даже не оказались ли бы они вынужденными в своих взаимных отношениях усвоить европейскую политику интриг, вражды и завоеваний? В частности, было совершенно необходимо, чтобы названные колонии испытывали на себе европейское давление в лице их общей метрополии, Англии. Не менее необходимо было, чтобы опасность внешнего давления достаточно долго оставалась не преодоленной и после образования Союза; настолько долго, чтобы в нем успело создаться и окрепнуть сознание нового национального единства, покоящееся на совершенно новом понимании государства и на новых принципах взаимных отношений между государствами.

Тот народ, что не стеснен изжитыми традициями и не испытывает на себе неодолимого воздействия сил, парализующих все порывы его творческой воли, естественным образом предрасположен к быстрому и широкому социально-политическому прогрессу. Он тем более предрасположен к нему, если первые его поколения состояли из людей яркой практической инициативы и здорового представления о справедливом, порвавших с прошлым во имя будущего по их собственному вкусу и послуживших примером для всех последующих поколений.

Таков как раз американский народ.

Он любит прогресс, потому что всякий прогресс всегда что-нибудь улучшает, потому что он практически выгоден, делая жизнь или более легкой, или более приятной. Всякий прогресс должен быть для него прежде всего прогрессом в области повседневной жизни и материальной культуры. Но если этот прогресс требует время от времени крупных изменений в самых формах жизни, их нужно допускать, как любые другие. Можно сказать больше: американец любит прогресс ради самого прогресса, как он любит жизнь ради самой жизни. Жизнь и прогресс для него одно и то же.

Порою эта любовь к прогрессу и жизни превращается у него в нездоровую страсть к стремительности, новизне и грандиозности, ничем не оправдываемым. Быть может, весьма скоро страсть эта делается серьезной опасностью для всей американской цивилизации. Однако, от этого она отнюдь не становится менее характерной для современных американцев и для всего современного «американизма».

Оставим в стороне технический и материальный прогресс в новейшей Америке, достаточно известный всем и каждому. Обратим внимание лишь на отличительные черты ее политического прогресса, на который далеко не всегда обращается должное внимание.

Еще в 1776 году общественное мнение большинства будущих соединенных штатов было определено враждебно всякой идее независимости. Новая Англия одна решительно выступила тогда на защиту этой идеи. И тем не менее эта одна колония сумела увлечь за собою все остальные, и недолго спустя независимость была провозглашена. Точно также совсем накануне Филадельфийского конгресса в мае 1787 года американское общественное мнение было еще резко против превращения Конфедерации в единое федеративное государство с сильной центральной властью законодательной, исполнительной и судебной. И тем не менее новая конституция, ознаменовавшая собой такой решительный политический прогресс, была принята в течение того же еще 1787 года.

Чудесные превращения, испытанные знакомой уже нам доктриной Монро в течение всего лишь нескольких десятилетий, со своей стороны могут служить превосходной иллюстрацией быстроты развития политического сознания в Америке.

Мы видели ее в ее первоначальном, оригинальном тексте и мы охарактеризовали ее как доктрину, провозглашающую начало невмешательства. Но уже совсем не в таком виде выступает она в интерпретации несколько более поздних государственных деятелей Америки, как-то Полк⁴⁵, Дэвис⁴⁶ и Грант⁴⁷. Наконец, она едва ли не становится своим собственным отрицанием у государственного секретаря Ольнея⁴⁸, доказывавшего в 1895 году, что длительная политическая связь между каким-либо европейским государством и государствами американскими (читай,

между Англией и ее заатлантическими доминионами) «и неестественна и нецелесообразна».

И далее, текстуально: — «В настоящее время Соединенные Штаты поистине представляют собой суверенное американского континента и воля их обладает силой закона там, где они считают нужным свое вмешательство. Почему? Не потому что их одушевляет бескорыстная дружба; не потому также, что они достигли весьма высокой ступени цивилизации или что действия их неизменно преисполнены мудрости, права и справедливости. Помимо всех прочих мотивов причина здесь та, что грандиозность их ресурсов вместе с изолированностью делают их господами положения, практически позволяя им быть неуязвимыми ни для какого другого государства, ни для всех других государств, объединившихся вместе».

Проходит еще двадцать лет со времени декларации Ольея и вот доктрина Монро вновь выступает на историческую сцену на этот раз в качестве предлагаемой Америкой базы для *всемирной Лиги Наций!*

Я имею в виду послание к конгрессу американского президента в самом начале 1917 года. В нем говорится между прочим: — «Я предлагаю, чтобы все нации, по общему соглашению, приняли доктрину президента Монро в качестве мировой нормы, а именно, чтобы ни одна нация не стремилась к распространению своего господства над другой, но чтобы каждому народу было предоставлено право свободного самоопределения, а также право следования по избранному им пути развития без препятствий и без угроз; слабым так же, как и сильным».

Но таким образом мы уже, — в Америке президента Вильсона с его грандиозным планом международно-правовой реорганизации всего мира и с его знаменитыми «четырнадцатью пунктами». Пусть же нам будет позволено закончить нашу беглую характеристику американского социального духа беглым наброском портрета этого безусловно выдающегося человека. Для меня является совершенно несомненным, что как индивидуальность и государственный деятель **Вильсон** в такой же мере характерен для американизма наших дней, в какой **Вильгельм II** был характерен для германизма до 1918 года.

Итак, что представляет собою **Вудро Вильсон**?

Внук Джемса Вильсона, эмигрированного в Америку в 1807 году и сын Жозефа Вильсона, пастора и профессора, будущий «великий американский президент» более всего обязан своим воспитанием своему отцу⁴⁹. Вслед за отцом наибольшее влияние оказали на выработку характера Вильсона два великих его соотечественника, Вашингтон⁵⁰ и Линкольн⁵¹. В превосходно написанной им обширной биографии Вашингтона Вильсон ярко выразил свое преклонение пред величием души основателя современной Америки, пред его настойчивостью и постоянством в предпринятых им делах, пред верностью его взятым на себя обязанностям. Что же касается Линкольна, то он для Вильсона «образец американца», «лучшая американская кровь». «Он вышел из наиболее грубых кругов, но все его формировало, образовывало, преобразовывало. Он приступал к делу, не зная ничего, но тотчас же он уже знал все... Удивительная фигура». Подобные восторженные описания двух наиболее великих людей своей страны обнаруживают пред нами Вильсона таким, каким он хотел бы быть сам. Его идеал не навязан ему принудительно всем прошлым его народа или средой, свято берегущей вековые традиции. Он нашел его в живом настоящем этого народа и в его пламенной любви к свободе и прогрессу. Персонально он легко мог бы иметь какой-либо совершенно иной идеал или вовсе не иметь никакого идеала, но разве тогда Америка призвала бы его выполнить позже то высокое назначение, какое выпало на его долю в качестве президента всего союза? Но даже если бы эти его идеалы ему достались по наследству, то все же далась ли бы ему возможность продолжить дело своих учителей и кумиров без долгой и упорной работы его над собой и без высоких личных качеств? Мог ли бы он без них выйти на ту широкую историческую дорогу, на которую только по праву рождения выходит порой самый посредственный из монархов?

У Вильсона были, говорят, от природы богатые ораторские данные; он значительно усовершенствовал их путем сознательного упражнения и долгой практикой. Он всегда хорошо писал; но этого ему не было достаточно. Ему хотелось достичь абсолютной ясности своего стиля,

сделать его точным, убедительным, живым. И он достиг этого. Для того чтобы чувствовать себя вполне в своей сфере в государственных делах, необходимо знать историю своего народа, его современное состояние, правовые основы его государственной жизни, главнейшие условия и требования его дальнейшего политического прогресса. Как известно, до начала своей чисто политической карьеры **Вильсон** был профессором публичного права. Его перу принадлежит несколько весьма ценных сочинений по конституционному праву вообще и по конституционному праву Соединенных Штатов, в частности. По природе своей **Вильсон**, согласно свидетельству людей лично знающих его, энергичен и настойчив. С годами энергия и темперамент государственного человека в нем лишь все увеличивались. Итак, еще раз: — **Вильсон** имел в себе от природы и сильно развил ценной настойчивой работы все качества, необходимые в передовой современной стране государственному деятелю, призвание которого быть знаменосцем политического прогресса быстрого и последовательного.

Не взирая на свой искренний и глубокий идеализм, **Вильсон** чрезвычайно трезв, практичен, «почвенен». Он ищет только реального; он любит только результаты. — «В политике — говорит он — я прагматист. Первая моя мысль всегда: даст ли это результаты?» — В политике... Но разве мы знаем **Вудро Вильсона**, стоящего вне политики или, точнее, вне общественных и государственных дел? Даже в качестве человека науки он практичен и прагматичен. Он не создает и не защищает никакой новой теории или тезы, он не выискивает неизданных документов и не занимается толкованием текстов под тем или иным оригинальным углом зрения. Нет, ничто это его не интересует. Напротив, ему интересно показать своим читателям, каковы практические недочеты американской конституции и каковы должны быть практические реформы для того, чтобы впредь правительство функционировало лучше, чем до сих пор. Или, например, он систематизирует громадный фактический материал, касающийся устройства государственной жизни во все времена и у всех народов с тем, чтобы материал этот можно было весьма удобным образом использовать в практических учебных целях.

Сочетание в Вильсоне идеализма с практицизмом, широкого полета воли с даром трезвого расчета, на мой взгляд, также представляется типично американским свойством и вместе с тем всецело в стиле наций с «правовым» характером.

С другой стороны, не является ли еще более американским в Вильсоне то, что спрошенный однажды о читаемых им книгах, он ответил:

«Вот уже четырнадцать лет, как я не прочел ни одной серьезной книги. Лишь несколько уголовных романов способны были удержать мое внимание. Современные романы слишком перегружены проблемами. А с меня достаточно уже проблем. Иногда несколько стихов: — я открываю кого-либо из моих излюбленных поэтов. У Теннисона⁵² есть места, которые чрезвычайно пригодились мне. Я не знаю никого, кто лучше, чем Теннисон, изложил бы теорию народоправства».

Быть может, я заблуждаюсь и преувеличиваю, но мне представляется, что в приведенных словах такого законченного американца, каковым по праву может считаться Вильсон, можно усмотреть *одну из самых характерных черт* всей современной американской цивилизации. По ним можно судить об ее положительных и отрицательных сторонах. На них можно наглядно показывать всю глубину различия между цивилизацией в Новом Свете и европейской цивилизацией. А в особенности, быть может, они пригодны для того, чтобы проследить различие между национальными характерами «моральным» и «правовым».

В самом деле:

— Вильгельм II, будучи Гогенцоллерном и немцем, не довольствовался своим назначением быть высшим политическим, военным и религиозным представителем своей страны. Он стремился быть также и выразителем ее чисто культурных запросов. Поэтому-то он так часто выступал, то в качестве мудрого покровителя наук, то в качестве художника, чьи символические картины были выставлены в Национальном берлинском музее, то в качестве автора проектов скульптурных произведений. Решительно ничто в культурной жизни его народа не проходило мимо него. Он открывал памятники, основывал музей, посещал

театры и концерты, сидел рядом со студентами на университетских лекциях и в Академиях Искусств. Он то и дело приглашал к себе во дворец профессоров, писателей и артистов, чтобы побеседовать с ними, послушать их и тем выразить им свое внимание и уважение.

Быть может, он делал все это главным образом в целях популярности. Что ж из того? Это могло бы только означать, что современный германский император и прусский король не мог рассчитывать на большую популярность, если бы он не стоял на высоте широких и сложных культурных течений своего времени и своей страны.

Напротив, современный американский президент, один из лучших выразителей национальных американских устремлений, — волен в течение 14 лет не читать ничего, кроме Шерлока Холмса и Ната Пинкертон! — Даже если он по временам открывает книжечку со стихами, то ведь и то, как оказывается, потому только, что она могла «чрезвычайно пригодиться» ему. И наконец, не характерно ли: — профессор государственного права признается, что лучшее изложение теории народоправства им найдено... именно в сборнике стихов. Нет, все это не может быть ни случайностью, ни чем-то чисто индивидуальным. Под всем этим чувствуется нечто социологически закономерное, если не неизбежное.

А кстати, по поводу Теннисона: — какова его формула демократизма или народоправства, которая так восхитила Вильсона-профессора и Вильсона-президента накануне его перевыборов в президенты?

Она выражена поэтом в следующих словах:

A nation yet the rulers and the ruled
Some sense of duty, something of a faith
Some reverence for the laws ourselves have made
Some patient force to change them when we will
Some civic manhood firm against the crowd*..

* «Нация -- это те, кто управляют и те, кем управляют. Некоторое чувство долга, некоторая доля веры, известное уважение к законам, которые мы сами установили для себя, некоторая терпеливая сила для того, чтобы изменять их, когда мы того хотим, некоторое гражданское мужество в отношении толпы»...

«Some»... «Some»... «Some»... «Некоторого рода»... «Некоторое»... «Известное»... Воистину, если Теннисон правильно передал в приведенных своих стихах смысл народоправства и демократизма, то это потому, что он верно уловил самое существенное в них: относительный, релятивный характер норм, служащих главным их основанием. А когда Вильсон аплодирует подобному поэтико-политическому вдохновению Теннисона, то не делает ли он это вольно или невольно в честь принципиального правового релятивизма, как одного из трех исконных методов направления социальной жизни, создающего решительный перевес правовых импульсов над импульсами моральными и чисто политическими? Но в таком случае, это, ведь, всецело подтверждает то, что мы утверждали выше: народы с отчетливо выраженным правовым национальным характером не ищут абсолютных правил для своего поведения; а вследствие этого их цивилизация не может обладать ни той глубиной, ни тем величием, которые — на это не приходится закрывать глаза — до сих пор были неотделимы от «абсолютистского» (морального) восприятия жизни, от любви к абсолютному, от тоски по абсолютному.

Но вернемся непосредственно к Вильсону.

В его интеллектуальном облике есть еще другие черты, одинаково характерные для него и как для индивидуальности, и как для типичного американца.

Вильсон не любит революций. В нем нельзя обнаружить ни малейшей симпатии даже к французской революции. Он с похвалой отзывается о Берке⁵³, «уловившем разрушительное начало в Революции», и со своей стороны подчеркивает заразительность и опасную эпидемичность этого начала. Но вместе с тем его собственные реформы проводились им с энергией, быстротой и настойчивостью почти революционными. Ни в какой мере не приходится считать Вильсона и за консерватора. Но тем не менее он принадлежал к правому крылу демократической партии, любил старую Англию, проповедовал педагогическую пользу древних языков, упрекал современную науку во внедрении пренебрежения к историческому прошлому. С полным основанием можно утверждать поэтому, что Вильсон одинаково близок и одинаково чужд как революционному

экстремизму, так и консерватизму. В своей мысли и в своих действиях он неизменно выдерживает какую-то среднюю пропорциональную между тем и другим. Но ведь именно таковым является по самой своей природе и по своему социальному назначению всякий либерализм и всякий правовой эволюционизм, типичным выразителем которых **Вильсон**, несомненно, является.

Дух либерализма и эволюционного правового прогресса больше всего обнаруживается в любви к реформам и в самих реформах. Способность и любовь **Вильсона** к реформам воистину замечательны.

Так, в качестве президента Принстонского университета он предпринял полную реорганизацию не только всей системы университетского преподавания, но и порядка жизни студентов и даже их нравов. Против него поднимается чрезвычайно сильная оппозиция. Он не смущается. Продолжает начатое дело, борется и одерживает крупные победы. Не его вина, если победы эти оказались лишь временными.

После президентства в Принстоне мы видим **Вильсона** в должности губернатора штата Нью-Джерси. Там также — в течение всего-навсего одного года — им были осуществлены чрезвычайно важные реформы. Он провел закон, предписывающий публичность собраний политических партий и устанавливающий особый порядок назначения партийных кандидатов. Благодаря ему прошел закон, значительно усовершенствовавший систему местного самоуправления в штате. Он подчинил более сильному контролю финансы общества.

Ясно, что если бы в 1912 году американский народ хотел иметь у себя президента, лишённого инициативы, без авторитета и без индивидуальности, если бы ему казалось необходимым и впредь следовать привычными путями, то он ни за что не доверил бы самого высокого в государстве поста такому лицу, как **Вильсон**. Напротив, если **Вильсон** не только был избран в президенты в 1912 году, но и переизбран в 1916-м, то это потому главным образом, что в этот момент своей истории американский народ был преисполнен ярких *либеральных* настроений и особенно жаждал *реформ и прогресса*.

В качестве президента Вильсон был всемогущ. Осуществляя свои многочисленные и значительные реформы в общегосударственном масштабе, он умел легко устранять со своей дороги все препятствия и парализовать всякую оппозицию, до оппозиции конгресса включительно. Каким образом достигал он этого? Он этого достигал тем, что обращался непосредственно к общественному мнению всякий раз, как нуждался в поддержке. И он неизменно оказывался прав в своих расчетах. Вполне доверяя законно избранному главе государства и в согласии со своим правовым национальным характером, американские граждане заранее обеспечивали ему свою поддержку — без колебаний. Не правда ли, какая разница между этим типом поддержки и тою, какую мог пользоваться император и король Вильгельм II, опиравшийся на вековые традиции, на божественный ореол своей власти, на чувство пассивного повиновения своего народа?

Само собой разумеется, что только благодаря мощной поддержке национального общественного мнения Вильсон и мог предпринять наиболее грандиозное из всех дел своей жизни — переустройство по-своему всей международной жизни на совершенно новых *юридических* основаниях.

Я имею сейчас в виду его попытку организации центральной международной власти во образе Лиги Наций.

Остановимся на ней с должным вниманием.

Прежде чем дойти до сознания возможности и необходимости создания Лиги Наций, Вильсон был вынужден проделать целый ряд этапов и испробовать совершенно различные политические пути. И это обстоятельство само по себе чрезвычайно характерно. Где же, кроме Америки, можно было в столь короткий срок совершить столь быструю эволюцию и пойти навстречу столь решительному правовому прогрессу? Где, кроме современной Америки, одному человеку — во имя и на основе права — была бы предоставлена безграничная свобода действий в таком вопросе, от разрешения которого должны зависеть в будущем судьбы всего человечества? И вместе с тем, насколько бы радикальной и чисто индивидуальной ни представлялась работа Вильсона в области переустройства

основ международного права, все, что им ни делалось, делалось чрезвычайно *по-американски* и всецело согласовалось с основными представлениями о праве и о прогрессе всего американского народа.

Думаю, что с этим без труда согласится всякий, кто проанализирует многочисленные речи, ноты и послания этого замечательного президента за время, относящееся ко второй половине великой войны.

Для примера укажем лишь на два места из них.

В своем январском обращении к сенату в 1917 году президент Вильсон говорит не только «как обыкновенное лицо» и «ответственный глава одного из великих правительств», но и — «от имени либеральных умов, от имени тех, кто в каждой нации являются друзьями человечества во всем его целом». Американский народ не может не играть выдающейся роли в восстановлении всеобщего мира. К этой роли он вправе считать себя нарочито подготовленным. Его готовили к ней как общие принципы и цели всей его политики, так и установившиеся у его правительства методы действия с тех самых пор, когда американская нация создавалась во имя возвышенной и благородной надежды служить человечеству светочем на пути к свободе. «Мир, который предстоит заключить в итоге беспримерной в истории войны, должен получить одобрение всего человечества» и не вправе служить лишь частным интересам или непосредственным целям заинтересованных народов. Вильсон превосходно сознает, что *никакое новое право не может обойтись без принуждения* и без принудительной санкции; одни соглашения — указывает он — бессильны обеспечить прочный мир. — «Поэтому является совершенно необходимым, чтобы была создана такая сила, которая служила бы гарантией прочности состоявшегося соглашения». — «Эта сила должна быть могущественнее не только каждой из воюющих наций, но даже и любой коалиции в прошедшем и будущем, так, чтобы никакой народ и никакая возможная комбинация народов не могли противостоять ей». Иначе говоря, всеобщий мир необходимо обеспечить «организованным превосходством силы всего человечества». «Нужно не равновесие сил, а объединение сил; не организованное

соперничество, а организованный общий мир». Но это еще не все. — «Только тот мир может считаться долговечным, который заключен между *равными*, который основан на *принципе равенства и равного участия* в общих благах. Чувство правды и чувство международной справедливости настолько же нужны для установления прочного мира, насколько необходимо для этого правильное разрешение жгучих вопросов территориального, племенного и национального характера». — Равенство наций, на котором должно покоиться здание прочного мира, выражалось бы в их равноправии. «Взаимные гарантии этого равноправия не должны делать различия между великими и малыми нациями, между могущественными и слабыми». И еще дальше: — «Никакой мир не может и не должен быть длительным, если он не признает и не принимает *принципа, в силу которого правительства получают все свои полномочия на основании согласия управляемых народов*, так что нигде не могут существовать права, позволяющие передавать народы от одного властителя другому, как если бы они были простою собственностью». И вот здесь-то мы приходим к основной мысли всего заявления, требующей, — «чтобы все нации, по общему соглашению приняли доктрину Монро в качестве мировой нормы». Соглашение всех держав не налагает никаких пут. «Когда все объединяются для действия в одном направлении и с одной целью, то все действуют в общем интересе и имеют возможность жить собственной жизнью под общей защитой».

Еще более конкретным и отчетливым образом условия всеобщего мира были указаны президентом Вильсоном в его речи 8-го января 1918 года и в его знаменитых «четырнадцати пунктах»⁵⁴. Оставим в покое те из этих пунктов, которые предусматривают специальный режим некоторых стран и напомним остальные, имеющие общее значение.

Пункт первый: — «Открытое обсуждение условий мира, после которого никакие частные международные соглашения не будут допускаться, а дипломатия будет действовать открыто и на глазах у общественного мнения».

Пункт второй: — «Полная свобода морей за пределами территориальных вод, как в мирное, так и в военное время, за исключением случаев, когда моря могут быть закрыты в целях выполнения международных договоров».

Пункт третий: — «Устранение, насколько это возможно всех экономических барьеров и установление равенства условий торговли для всех наций, заключивших мир и объединившихся для его поддержания».

Пункт четвертый: — «Достаточные гарантии должны быть даны в том, что вооруженные национальные силы будут сокращены до пределов строго необходимых для поддержания внутренней безопасности».

Пункт пятый: — «Свободное, искреннее и абсолютно беспристрастное исследование всех колониальных притязаний со строгим соблюдением принципа, согласно которому интересы затрагиваемых наций должны иметь с точки зрения суверенитета ту же цену, что и претензии правительств, чьи права подлежат определению».

И наконец, последний — *четырнадцатый* — пункт:

— «Должна быть создана всеобщая Лига Наций с международными гарантиями для обязательного обеспечения политической независимости и территориальной целостности одинаково и больших, и малых государств».

Да, все эти заявления — по их форме и языку, точно так же, как и по их содержанию — это весь Вильсон и вся новейшая Америка с ее либерализмом, демократизмом, индивидуализмом, с ее любовью к прогрессу и равенству; словом, — Америка с ее преимущественно правовым подходом к социальной жизни и социальным оценкам.

IV

С точки зрения мировой политики, которая нас здесь интересует более всего, знаменитый четырнадцатипунктный план Вильсона есть не что иное, как *федералистическая программа в мировом масштабе*, а вместе с тем — наиболее законченная программа *мирового либерализма*.

Исследовать социологические основы и элементы этого плана — значит далеко подвинуться вперед в понимании

социальной природы международного федерализма, условий его дальнейшего прогресса, видов на его окончательную победу, как одного из трех основных методов разрешения международной проблемы. Но с другой стороны, с уверенностью можно сказать, что только тот способен в полной мере оценить историческое значение замечательной попытки Вильсона, кто достаточно ясно представляет себе социальную природу всякого федерализма вообще и теоретическую сущность международного федерализма, в частности.

Федерализм...

Несмотря на весьма многочисленные научные исследования, посвященные проблемам федерализма, сущность этого явления до сих пор остается невыясненной. Обычно за проявления федералистического духа принимаются все те исторические события, которые приводят к слиянию малых политических единиц в более обширные или к уплотнению взаимных юридических связей между государствами. Но с другой стороны, если какое-либо унитарное (централизованное) государство распадается и в итоге этого распада превращается в сложное «союзное» государство или даже в союз государств, то и факт подобного распада принимается за проявление все того же федерализма.

Разумеется, отсюда сами собой вытекают бесчисленные неясности и противоречия. Если федерализм с таким же успехом обнаруживается в уплотнении политических связей, как и в их распадении, то не выступает ли он в роли весьма странной причины, при равных условиях производящей диаметрально противоположные последствия? Далее, становится совершенно неясно, способствуют ли процессы федерализации развитию и укреплению интернационализма или же они направлены принципиально против интернационализма и на пользу государству независимому и изолированному? Наконец, *в высшей степени ошибочно видеть в федерализме — как это делается сплошь и рядом — единственную форму для всякого интернационализма.* Мы уже имели случай констатировать раньше, что даже наиболее империалистические государства по-своему служат делу интернационализма. Несколько позже мы познакомимся с основаниями революционного социалисти-

ческого интернационализма, который также имеет мало чего общего с подлинным международным федерализмом (как проявлением мирового либерализма).

В чем же основная причина неясностей и противоречий в вопросе о существовании федерализма?

На мой взгляд, она заключается в том, что в силу создавшейся научной традиции федерализм принято усматривать во всякой наличной «федерации» и «конфедерации»: — обычное обманывание понятий словами. *Федерализм благодаря этому неизменно берется под чисто юридическим углом зрения, а не под углом зрения политическим.* Никто не придает ему значения определенной социальной силы, определенной тенденции и методы.

А между тем, — точь-в-точь так же, как империализм, — федерализм по преимуществу характеризуется именно своими свойствами особой социальной силы и последовательной исторической тенденции. Он прежде всего полный политический антагонист империализма. Теории права, пожалуй, совершенно нечего делать с ним. Это всецело обязанность теории политики выяснить и определить, каким специальным политическим надобностям отвечают движения федералистические, как отличные от всех остальных политических надобностей и от всех остальных движений. Кроме того, мы уже знаем, что все крупные политические процессы имеют свой собственный психологический базис и соответствуют особым состояниям и предрасположениям в психике наций и отдельных людей. Следовательно, раз федерализм может существовать в качестве особого рода политической силы и тенденции, то необходимо, чтобы он покоился на какой-то особой *федералистической психологии.*

Империализм — говорили мы — проистекает из потребности (социальной, политической и психологической) в неравенстве, в господстве, принуждении и подчинении, в эгоизме, консерватизме и централизации. Совершенно иначе обстоит дело с федерализмом. *Он отвечает потребности людей в равенстве, содружестве, взаимном уважении, в согласии и добровольных соглашениях, в известной доле альтруизма, в либерализме, в планомерном эволюционном прогрессе и децентрализации.*

Таким образом, с чисто политической точки зрения федерализм представляется нам силой, направленной на объединение ранее независимых политических единиц и на уплотнение взаимных связей между составными частями одной и той же единицы. И непременно на основе соглашения и равенства. Что же касается специально области *международных отношений*, то здесь федерализм выражает собой движение в сторону объединения всего человечества в одно единое политическое целое на основе свободного соглашения всех наций, равных в своих правах и стремящихся отстоять свою национальную индивидуальность.

Вот почему, в конечном итоге, могут существовать и конфедерации и федерации, не имеющие решительно ничего общего с каким-либо федерализмом. И обратно: существуют империи, в которых федералистический путь проявляется со все большей и большей отчетливостью. Так, например, рейнская конфедерация 1806—1813 гг. и германская федерация 1871—1918 гг. заключали в себе чрезвычайно мало подлинно федералистических элементов. Зато, напротив, новейшая история взаимоотношений между метрополией и доминионами в Британской империи есть история совершенно последовательной подстановки федералистических начал на место империалистических.

Исследуя природу империализма, мы предпочли говорить больше об империалистической политике, чем об империалистических странах. Точно также, обращаясь к федерализму, следует сначала говорить о федералистической политике (приводящей к особому федеративному праву), а уже только потом — о *федералистических* и *федеративных* странах.

Точь-в-точь как империалистическая политика, политика федерализма должна удовлетворять трем кардинальным условиям: — 1. опираться на свои собственные методы; — 2. иметь свои собственные, специфические тенденции; — и 3. обладать особыми родами ресурсами, необходимыми для ее успеха.

Два слова о каждом из этих условий:

Методы федерализма нам уже известны: они выражаются в его исхождении из начала равенства наций,

из дружеского согласования их действий, из соглашений между ними, из их взаимного уважения, из известного альтруизма, из вкуса их к децентрализации.

Что касается *специфических тенденций* федерализма, то они обнаруживают себя прежде всего в том, что он стремится разрешить международную проблему созданием мирового юридического режима, для всех равного, с помощью общей воли и объединенных действий всех наций вместе.

Остается вопрос об особом рода *ресурсах*, необходимых федерализму для достижения им желанных успехов. Однако, да будет нам позволено этот вопрос подменить другим, очень близким: — *об условиях успеха мирового федерализма*. Иначе говоря, мы хотим спросить себя: — каковы наиболее существенные условия должны быть выполнены для того, чтобы все нации мира могли объединиться друг с другом на федеративных началах. Ответив на этот вопрос, мы тем самым будем знать, *при каких обстоятельствах мировой либерализм в качестве одного из трех главных путей мирового прогресса может восторжествовать над своими противниками* — мировым консерватизмом и мировой революцией.

Здесь нам снова предстоит вернуться непосредственно к Америке.

«Либеральный темперамент» и либеральные настроения восторжествовали в Америке над всеми остальными политическими темпераментами вследствие особого положения Соединенных Штатов по отношению ко всем остальным государствам и вследствие их экономического благосостояния, непрерывно возрастающего. При создавшемся к известному моменту политическом положении дальнейший прогресс не мог бы иметь места. Значит, нужны были реформы. Тогда американцы, достаточно сильные политически, достаточно богатые экономически и достаточно привычные к разного рода реформам, обратились к реформам и нововведениям наиболее быстрым и наиболее смелым. Признаем в таком случае, что *первым условием также и для успехов мирового федерализма является то, чтобы все государства были сильны, богаты и благополучны*,

чтобы прогресс в области устройства их международных отношений обещал лишь очевидные выгоды и чтобы необходимые реформы представлялись легко осуществимыми.

Приведенное первое условие логически влечет за собой второе: — для того, чтобы полезность федерализации была одинаково очевидна для всех американских колоний и штатов, абсолютно необходимо было, чтобы все они жили одними и теми же политическими воззрениями и политическими чаяниями. В данном случае американский пример отнюдь не исключение. Напротив, всякая федеративная программа для своего осуществления требует известного единства взглядов заинтересованных социальных единиц, которое одно способно запечатлеть их рано или поздно в строго юридическом порядке. Говоря другими словами, *правовое разрешение международной проблемы в форме мирового федерализма (либерализма) должно опираться на согласованное правовое сознание большинства наций.*

А теперь последнее условие: — с давних пор для Америки существовала — а быть может, существует, еще и по сегодня — немаловажная *внешняя опасность*, против которой лучше всего должно было защищать Америку тесное согласие и сотрудничество всех американцев. Точно также мы вправе сказать, что *и мировой федерализм, как всякий вообще либерализм, требует для своего успеха наличия серьезной опасности, которую только с его помощью и можно парализовать.*

Отметим, наконец, что если в итоге великой войны 1914—1918 гг. Америка выдвинулась в качестве лидера мирового либерализма, то это случилось как раз благодаря совместному действию трех вышеуказанных факторов. Она могла побудить остальные нации к выполнению своей международной программы, потому что в этот момент она являлась самою сильною из стран и потому что все страны нуждались в ее помощи. Помимо этого, она была в этот момент почти вся целиком за торжество демократических идеалов, за свободу и за *юридическое разрешение международной проблемы.* А в довершение всего решительная победа в войне той или иной европейской державы, будь то Германия или кто-нибудь из ее противников, непременно грозила бы опасностью Америке, так как

всякая держава-победительница непременно стала бы империалистичной, реакционной и агрессивной по отношению к другим державам.

С другой стороны, — *это также все по тем же трем основным причинам державы Согласия одержали верх над своими противниками в качестве своего рода мировой либеральной партии, выступившей против мировой консервативной партии.* В своей совокупности они оказались несравнимо более сильными и богатыми, чем враждебные им Центрально-европейские державы. В лице этих последних все они имели пред собой страшную и непосредственную ощутимую опасность. И что особенно важно, — чтобы парировать эту опасность торжества Германии и германизма, они образовали *большинство* наций, согласившихся в критический момент на принятие одних и тех же основных правовых принципов международного равенства, международной свободы и устройства тесного международного союза.

Но как все в мире сразу и резко изменилось с конца 1918-го года! Как мало сегодняшний день похож на вчерашний! Как наивны, оказывается, были надежды тех, кто искренно поверил в возможность полного переустройства мира на новых правовых и политических основаниях!

В самом деле:

— Стоило с победой над Германией исчезнуть непосредственной внешней опасности, стоило народам в итоге борьбы с Германией ослабить свои военные национальные силы и растратить накопленное национальное достояние, как все члены противогерманской коалиции увидели себя лицом к лицу с затруднениями, внутренними и внешними, все более многочисленными и все более и более непреодолимыми. Удивительно ли, что каждый из них начал тогда изо всех сил бороться против этих затруднений за свой собственный страх и риск, совершенно не считаясь со своими вчерашними друзьями и союзниками? Удивительно ли, что многообещавшие «четырнадцать пунктов» **Вильсона** превратились в оскорбительный для идеи международного прогресса Версальский трактат⁵⁵, что с каждым днем все больше и больше говорят о новых и новых войнах и что за минуту до начала этих войн сам мудрый Эдип⁵⁶ не в состоянии окажется разрешить, кто кому в них будет враг и кто кому друг?!

Для теоретика международных отношений все это свидетельствует лишь об одном: — едва только отпали три основных условия для существования и успеха мирового либерализма, как немедленно рухнула и вся официальная программа этого либерализма. Во всяком случае, ныне она менее, чем когда-либо способна преодолеть ужасающий хаос, охвативший мир и разливающийся по миру все более и более пьяной волной. И сколько еще лет продолжится это «ныне»! Да и настанет ли еще когда-либо день, когда здоровый и уравновешенный правовой эволюционизм снова (во образе мирового *федерализма*) делается главнейшим фактором мирового политического прогресса? Не будем ни гадать, ни пророчествовать, ни высказывать своих личных верований или надежд. Ограничимся лишь тем единственным выводом, на который нас логически уполномочивают все наши предыдущие наблюдения и размышления.

Мы вправе спросить себя:

— Если когда-нибудь описанный хаос будет все же преодолен и преодолен не индивидуальными усилиями некоей новой империалистической нации и не с помощью идеала и методов страшной всемирной революции, то в каком же порядке может случиться это? Не очевидно ли, что это может случиться лишь в силу общего дружественного соглашения всех наций, снова ставших могучими, богатыми, ревнующими о самом строгом взаимном равенстве; — наций, преисполненных самого искреннего взаимного уважения и вошедших в единую федералистическую организацию, отражающую согласованность их правового и социального сознания. Другими словами говоря, это может случиться лишь в форме нового — и на этот раз уже окончательного — торжества знакомого нам *мирового федерализма или либерализма*.

Предыдущую главу я закончил своего рода защитительной речью в пользу империалистической Германии и Вильгельма II. Как побежденных в борьбе, обманувшихся, обманувших других и за все это обвиненных своими победителями несравнимо более, чем допустимо, их естественно было защищать тому, кто не принадлежит ни к лагерю побежденных, ни к лагерю победителей.

Но кто подумал бы, что может наступить час, когда понадобится защита Вильсона и Америки от упреков и обвинений, отнюдь не вполне напрасных? А между тем, час этот уже наступил, мы живем в нем. Америка сама довольно недвумысленно высказалась против Вильсона, — а, следовательно, и против самой себя со своими горделивыми мечтаниями — решив при очередных президентских выборах стать более эгоистичной, более консервативной, и более безразличной к интересам мирового прогресса. Даже Америка, значит, не сумела *осуществить задачи: в одно целое спокойно и гладко соединить юридическими нормами человечество, которое еще так привыкло жить разъединенным и которое совершенно еще не имеет единого правового сознания, абсолютно необходимого для всякой небутафорской Лиги Наций.*

Однако, если даже Америка, — даже она и в такой исключительно благой, приятной мировой обстановке! — не сумела выполнить такой задачи, то не является ли она попросту исторически неосуществимой в нашу эпоху? И если все же человечеству суждено более или менее скоро придти к прочному политическому объединению, то удастся ли это ему без обращения к последнему, оставшемуся неиспользованным в мировом масштабе методу, — к методу *революционному?*

Иначе говоря, — *быть или не быть мировой революции?*

Это тот вопрос, над которым задумалась сейчас История и который в утвердительном смысле хочет разрешить за нее Россия.

Так или иначе, но очередное *мировое слово* сейчас за Россией и только за ней.

**МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
РОССИЯ И ЛЕНИН.**

I

Обычно Политику определяют как «планомерное воздействие на государственные дела» или как «сознательную государственную практику». Одни ее свойства обнаруживают черты искусства, и потому о Политике говорят, как об *искусстве* государственного управления. Но в ней есть и другого рода свойства: — те, что приближают ее к области знания, к Науке: — «политика есть *наука* о государственном управлении».

Почему-то ученый спор, давно уже тлеющий вокруг вопроса о существовании Политики, сосредоточивается по преимуществу на одном этом пункте: чем Политика является *больше*, искусством или наукой? Или — несколько в другой форме: каким образом элементы искусства сочетаются в Политике с элементами науки?

На мой взгляд, все приведенные определения и контроверзы покоются на совершенно очевидном заблуждении и ни в какой степени не помогают уяснению того, чем является Политика по своему существу и каково ее назначение.

Мне представляется несомненным, например, что даже самая неискусная политика в той же степени имеет все свойства Политики, что и самая ловкая, самая тонкая. Значит, элементы искусства не должны почитаться чем-то особенно характерным для Политики. Что же касается Политики как науки, то наукой она оказывается ничуть не больше, чем любое другое жизненное явление, которое способно остановить на себе сознание людей и чрез это превратиться в предмет научного постижения. Следовательно, свойства «знания» и «науки» также не могут

признаваться за основные, определяющие свойства Политики и конституировать ее понятие.

Остается отождествление Политики со всяким вообще государственным управлением. Им также трудно удовлетвориться. Во-первых, не всякое государственное управление есть непременно политика; а, во-вторых, не всякая политика есть непременно государственное управление. *Она лишь особый род, особый способ государственного управления; и вместе с тем она безусловно есть нечто гораздо большее, чем только это.*

Говоря короче, *всякий ищущий определить существо Политики, с самого начала должен признать, что даже для того, чтобы выступить как искусство, как наука и как государственное управление, она прежде всего должна существовать сама по себе, быть чем-то сама по себе, — быть Политикой.*

Итак, что же она такое?

Она есть прежде всего *одна из трех основных сил социально-этического порядка, управляющих изменениями и прогрессом в социальной жизни людей.* Так мы определили ее в первой главе, так мы должны определять ее и теперь. Мы знаем уже, что легче всего можно понять природу Политики в том случае, если поставить ее в соотношение с категориями Справедливости и Времени. *Мораль* — говорили мы — стремится управлять социальной жизнью людей с помощью норм абсолютных, независимых от условий эпохи и безусловно обязательных для сознания всех и каждого. *Право* направляет человеческие отношения посредством норм, установленных в принудительном порядке, обязательных лишь для той или иной определенной массы людей и действительных лишь в течение определенного периода или впредь до отмены в предусмотренном порядке. Что же касается Политики, то она выражает собой требования отдельного, индивидуального случая, отдельной неповторяемой ситуации; таким образом, ее специальное назначение в том, чтобы обслуживать справедливое в моменте и на момент (*как бы длителен порою момент ни был*).

Политика имеет свои «общие правила», но она мало обращает на них внимания, если с их помощью не достигается какая-нибудь непосредственная цель. В случае надобности, — и это случается на каждом шагу, — она попросту переделывает, искажает, вывертывает наизнанку эти свои «общие правила», лишь бы только они стали в данном конкретном случае ее послушными орудиями.

В Политике есть и свои санкции. Она всегда действует в границах, которые не смеет перейти без риска... без риска *провалиться*. И вот этот-то *риск провала*, эта *опасность неуспеха* и есть в области Политики *главнейшая из санкций*. Напротив, если успех важного политического дела требует резкого нарушения права или наталкивается на противодействие моральных заповедей, политик перешагивает и через право, и через мораль. Иначе он не был бы уже политиком, но либо охранителем права, либо слугой морального долга. Именно по этой причине Л. Толстой⁵⁷ мог утверждать, что человек, обладающий хоть минимальным моральным сознанием, не может быть политиком.*

Из сказанного не вытекает, однако, что Политика не имеет ничего общего ни с Правом, ни с Моралью. Напротив, — как нами отмечалось уже в свое время, — она связана с ними крепкими и тесными связями.

В самом деле:

— В очень многих случаях Политика стремится удовлетворить требованиям воистину моральным, но только она прибегает при этом к методам и средствам, для морали совершенно неприемлемым. В других случаях это она, Политика, делает в зависимости от обстоятельств момента окончательный выбор между двумя конкурирующими нормами Морали. Наконец, в тех спорах между Моралью и Правом, в которых никто из них не в состоянии одержать верх над противником, окончательное решение очень часто остается опять-таки за Политикой.

* «Не только нравственная, но и вполне безнравственная личность не может быть на престоле или министром, или законодателем, решителем и определителем судьбы целых народов. Нравственный, добродетельный государственный человек есть такое же внутреннее противоречие, как нравственная проститутка, или воздержанный пьяница или кроткий разбойник. Деятельность всякого правительства есть ряд преступлений» — («Единое на потребу. — О государственной Власти»).

Еще более тесны, пожалуй, отношения Политики к Праву. С полным основанием можно было бы утверждать даже, что первая находится на службе у второго, если бы одновременно нельзя было с таким же основанием утверждать и обратного. И действительно, политика проявляет себя всюду, где нет налицо подходящих юридических норм; таким образом она заменяет Право. — Когда новая правовая норма стремится войти в жизнь, Политика подготавливает ее приятие пропагандой в прессе, обеспечением ей большинства в парламенте, устранением заинтересованных противодействий ей. — Самый текст законов сплошь и рядом оказывается простой равнодействующей многообразных и противоречивых политических влияний. — Проведенный в установленном порядке закон может легко остаться мертвой буквой, если Политика не обеспечит ему достаточного уважения и строгого выполнения. — Но вот правовое предписание отжило свое время, становится непрактичным, несправедливым и нуждается в замене его новым; Политика снова тут, чтобы провести эту замену. — Существующие в каждой цивилизованной стране политические партии организуются и взаимно отгораживаются по признаку их отношения к существующей системе права, которую они хотят или поддерживать, или планомерно усовершенствовать, или разрушать. — Самый успех политических партий и их методы действия также находятся в прямом соотношении с Правом. Если Право на высоте своей задачи, политическая жизнь разворачивается нормально, политическая борьба протекает в легальных формах, консервативные партии — господа положения. Если Право требует серьезных реформ, но само же указывает и пути к реформам, тогда руководящую роль получают в стране либеральные партии. Если же, наконец, правовой порядок перестал быть устойчивым, практичным и справедливым, но вместе с тем не найдено еще путей для его планомерного и безболезненного усовершенствования — тогда руководящее значение получают революционные настроения, революционные партии, революционная политика.

Чтобы еще отчетливее усвоить себе социальную природу и социальное назначение Политики, следует неизменно иметь в виду три наиболее характерные из ее черт:

— 1. она по самому существу своему всегда *персональна* (в личном или групповом смысле);

— 2. она обнаруживает себя почти исключительно лишь в *действии*;

— 3. она *чрезвычайно сложна*, так как решительно ничто не безразлично ей, все на нее влияет и на все она сама влияет.

Нет Морали там, где внутреннее сознание человека не служит ему проводником абсолютных велений. Нет Права там, где соответствующим образом сформулированные предписания не установлены принудительно и не поддерживаются принудительно «законными властями». В Политике несущественно, кто и как действует и по каким побуждениям, но только вовсе нет Политики там, где никто и никак не действует.

Будучи по преимуществу действием, Политика особенно интересуется всем тем, что способно произвести немедленный, непосредственный эффект. Политик с величайшим вниманием относится иногда к самым ничтожным нюансам и штрихам событий, и к явлениям мгновенным и бесследно проходящим. Отдал ли г. X визит г-ну У и когда; любит или не любит г. Z играть в бридж; была ли г-жа W любезна и почему на приеме у Т г. R так мало говорил, все это для политика может составлять вопросы первостепенной важности и таить в себе причины его успехов или поражений.

Умение разбираться в смене событий и пользоваться наиболее случайными и неожиданными сочетаниями их — едва ли не все в Политике. Но, ведь, всякий обречен жить в особом сочетании обстоятельств, быть своим собственным центром их и принимать решения по преимуществу на свой личный страх. Вот почему Политика всегда столь персональна и тяготеет одновременно ко многим центрам. Вот почему не может быть настоящим политиком человек, неспособный действовать за свою личную ответственность и не имеющий своих собственных политических видов, целей и путей. Великие политики это непременно крупные самостоятельные характеры, созданные для того, чтобы навязывать свою волю другим, управлять по-своему событиями или, по крайней мере, делать вид, что управляют ими. И чем больше

кто-нибудь «персонален», «личен» в своей политической деятельности, тем более он значителен в качестве политика.

II

Теперь спросим себя:

— Всякое чисто персональное действие не есть ли, по самому характеру своему, *действие революционного порядка, маленькая или большая революция*; и, во всяком случае, нет ли в нем чего-то весьма *родственного с революционными действиями и с революционным духом*?

Революционер не имеет уважения к авторитетам и ставит себя вне законов Морали и Права, выше их. Он всегда борется. Он любит разрушать. Он организатор. Он хочет в чрезвычайно неблагоприятных обстоятельствах достичь осуществления поставленной себе задачи.

А политик?

Он совершенно в том же положении. Но здесь не сходство, а именно взаимопроникновение понятий. *Наиболее чистый тип политика нужно искать среди революционеров; а политикой, наиболее свободною от всех посторонних примесей (моральных и правовых), несомненно является политика революционная.*

Факт этот можно объяснить и иначе. Мы уже отмечали однажды тесную взаимную связь между моральными устремлениями и консерватизмом. Всякий консерватор есть лицо, поддерживающее существующий публичный порядок. Чтобы действовать в качестве политика, консерватор не имеет необходимости опираться только на политику. На его мельницу льют воду и Мораль с ее абсолютными предписаниями и санкциями, и Право со всем его могучим аппаратом принуждения. Следовательно, он может достигать чисто политических эффектов, действуя в качестве человека, преисполненного Морали, или следующего путями Права. Приблизительно также обстоит дело и с либералом или прогрессистом. Этот — в первую очередь опирается на Право и лишь во вторую на Мораль, но и он, следовательно, сверх чисто политических ресурсов располагает в своей деятельности еще и ресурсами моральными

и правовыми. Напротив, совсем в ином положении находится революционер. Установленная Мораль сделалась, с его точки зрения, служанкой недопустимого социально-политического порядка и потому она для него не Мораль. — Равным образом и Право, выражающееся в нормах, которые следует без остатка разрушить, не есть для него Право. Поэтому-то он и восстает против обоих. Он протестует против них. Он борется против них всеми возможными для него средствами; не беда при этом, что многие среди них кажутся совершенно «невозможными» его противникам. Борьба против старых Права и Морали становится всей его жизнью. Все для этой борьбы. Все ради того, чтобы она завершилась победой...

Если существующий правовой порядок и моральные традиции достаточно еще крепки и их трудно сокрушить, революционер идет на то, чтобы пожертвовать своей жизнью. Его повесят, но смерть его найдет широкий отклик, а его идеи, благодаря ней, найдут новых последователей. Когда же вместо того, чтобы умереть — более *практичным* и *целесообразным* становится вести секретную пропаганду или действовать за границей, революционер поселяется в конспиративных квартирах, «уходит в подполье» или превращается в политического эмигранта. Если удобнее всего расшатывать существующий политический строй восстаниями, революционер устраивает восстания. Если он находит момент подходящим для революционного взрыва, он и его товарищи выкидывают красный революционный флаг.

Короче говоря, все поведение и вся психология подлинного революционера целиком обусловлены возложенной им на себя политической задачей, но отнюдь не «моральными предрассудками» или «уважением к праву». Каким образом в этом революционном служении, при всех его отрицательных сторонах, отражаются все же веления Высшего Добра и действительно Абсолютной Справедливости — это совершенно иной вопрос. Чрезвычайно интересный и серьезный, он целиком относится к области философской этики и здесь, к сожалению, не может быть ни разрешен, ни даже рассмотрен.

Человек без большой силы характера и без энергии не годится в революционеры. Но одних характера и энергии в данном случае недостаточно. Главное в революционере — *способность к жертвам*. Нужно уметь порвать все нити, привязывающие человека к его окружающим. Нужно привыкнуть к нужде, к необеспеченности завтрашнего дня, к преследованиям. Больше: истинный революционер должен уметь жертвовать не только своей собственной жизнью, но и жизнью своих лучших сотрудников и друзей. В случае надобности, он должен без колебания посылать их в тюрьмы, на баррикады, на казнь. Чтобы привлечь все новых и новых последователей, ему приходится преувеличивать успехи революционного дела, а иногда и просто лгать. Лжет он и для того, чтобы скрыть от непосвященных или от врагов свои истинные намерения, — иначе самая его деятельность сделалась бы невозможной. Обстоятельства могут заставить его делать и много других предосудительных, с обычной точки зрения, поступков и, даже вообще считать, что ему решительно все позволено ради его дела. Да, да — ради дела он готов идти на все. Все ради победы! Однако, потому ли только делает он все это, что он революционер? Нет, на мой взгляд — прежде всего потому, что он политик.

Когда революционные настроения достаточно назрели в стране, создается целая градация революционных типов. Одни из них стремятся оставаться верными первоначальным идеалам и предпочитают работать с помощью испытанных революционных приемов; другие находят выгодным войти в контакт и соглашение с нереволуционными, но прогрессивными кругами; третьи, напротив, все более и более повышают свои революционные требования, провозглашают догматы все более радикальные и предпринимают действия, все более «крайние», «экстремистские».

И вот — революция вспыхнула.

Что приносит она с собою в первую очередь?

Она разрушает старый правовой строй, отодвигает на задний план вековые моральные традиции и затем сама склоняется пред капризами и порывами «революционного момента». Герои революции появляются на шумной

исторической сцене, действуют некоторое время и затем исчезают кто безнадежно скомпрометированный, кто запуганный ходом событий, кто, — поплатившись жизнью за миг творчества, власти и славы.

У каждого своя собственная идея революции. Каждый волен действовать по собственному плану и за свой личный риск и страх. У революционного процесса есть и своя логика, и своя психология, но логика и психология, недоступные пониманию всех или большинства. Нужна какая-то особая интуиция, чтобы уметь понять их, пользоваться ими и направлять их. Одним словом, для этого нужно обладать *гением революционного вождя*; а обладать им, естественно, могут одни только единицы. Зато лицо, наделенное, такого рода гением, не может не являться одновременно *гениальным политиком*.

Ясно почему:

— Все в подлинной революции зависит от момента. Одна речь, один батальон солдат или поезд с провиантом могут, при известных условиях, решить судьбу всей революции. Следовательно, нужно иметь талант быстро принимать верные решения, быстро и легко лавировать ради достижения данной временной цели, внезапно менять свои намерения, обещания, методы действия, находить новые ресурсы.

Говоря другими словами: — это именно во время революции необходимо прежде всего *действовать*: — это революционеры умеют действовать с наибольшей решительностью и энергией; — это революция, наконец, с наибольшей неумолимостью парализует всякое право и всякую мораль. Следовательно, *состояние революции совершенно исключительно благоприятно для того, чтобы Политика сделалась главнейшей движущей пружиной социальной жизни за счет Морали и за счет Права*.

С этой точки зрения можно с полным основанием утверждать, что чем больше в той или иной стране существует благоприятных условий для революции, тем более Политика берет в ней, в качестве социального двигателя, верх над Моралью и Правом. И обратно: — чем больше в данной социальной среде Политика берет верх над двумя другими силами социального прогресса, тем больше там благоприятных условий для революции.

От этого заключения сам собой напрашивается переход к другому заключению, для нас здесь еще более важному.

А именно:

— Если в среде народов есть такие, которые наделены по преимуществу «политическим» характером, как есть другие с характером по преимуществу «правовым» (Америка Вильсона) или «моральным» (Германия Вильгельма II), то это безусловно должны быть народы, живущие в наиболее ненормальных, неустойчивых социально-политических условиях и наиболее предрасположенные к революциям.

Главнейшими из условий, предрасполагающих страны к революциям, мне представляются нижеследующие:

— Весьма отсталое государственное устройство.

— Правительство, кажущееся весьма сильным и опирающееся на господствующие меньшинства при полном пренебрежении к интересам подавляющего большинства населения.

— Полная невозможность изменить правительственный строй в порядке мирном и с помощью средств легальных.

— Мало удовлетворительное внутреннее состояние государства и, в особенности — плохое его экономическое положение.

— Непосредственные внешние опасности.

— Весьма отсталая цивилизация.

— Разительные социальные неравенства.

— Бурное историческое прошлое страны, заполненное внезапными политическими переменами, восстаниями и революциями разного рода и разного значения.

— Недовольство народа существующим положением вещей, превратившееся в его естественное состояние.

— Почти полное отсутствие политического опыта и интереса к политическим делам у подавляющего большинства народных масс.

— Общественное мнение слабое и раздробленное.

— Исключительно сильное влияние отдельных личностей в качестве вождей партий или публицистов.

— Существование в течение долгого времени и относительно весьма сильное влияние революционных обществ и группировок.

И, наконец, — быть может, наиболее существенное условие:

— Революционный дух должен владеть в таком народе не широкими народными массами (революции никогда не делаются большинством), но лишь сравнительно очень небольшим числом лиц, интересующихся ходом политических дел и стремящихся защищать массы против угнетения их господствующими классами. Что же касается самих масс, то они должны представляться лишь удобным горючим материалом в руках революционеров по призванию, готовым проявить себя в подходящий момент сборищем людей, лишенных правового смысла и отказавшихся от всех моральных устоев.

Таким образом, у народов — «консерваторов» с ярко выраженным «моральным» характером *моральными* должны являться (хотя бы в принципе) *все*. У народов — «либералов» или «прогрессистов», обладающих «правовым» характером, право должно поддерживаться *большинством* населения. У народов — «революционеров» с их преимущественно «политическим» темпераментом революционную политику делают *меньшинства и отдельные единицы*.

Но с другой стороны:

— Когда в той или иной стране, Мораль оказывается доминирующей социальной силой, то она действует лишь в интересах *отдельных правящих единиц и ничтожных меньшинств*. Когда Мораль уступает первенствующее место Праву, то выгодами Права начинает пользоваться *организованное (формальное?) большинство населения*. Когда же в процессе внезапно разразившейся революции ходом социальных дел единовластно берется править Политика, тогда *на первый план выдвигаются воля и прихоти всех, тогда все должны быть относительно удовлетворены и все решают участь революции*.

Отсюда — новый характерный признак Политики, как источника всякой революции:

— Вместо того, чтобы покоиться на начале неравенства и иерархии, как Мораль, — или на начале равенства, как Право, революционная Политика ищет свою опору в принципе *неразличения и единства*.

Единство есть самая основная категория всякой Революции. Объединение всех — ее первая цель, потому что только цель объединения и может увлечь одновременно всех.

В полном согласии с только что отмеченной необходимостью для революции опираться на дезорганизованные, своевольные массы и затем их объединять вырабатываются обычно революционные программы.

В маленькой стране достаточно бывает иногда весьма скромных требований, чтобы зажечь революцию и вести ее под их флагом. Но подобные революции не могут получить широкого размаха и заканчиваются сравнительно мало существенными переменами. Мы же здесь интересуемся лишь странами, мощно влияющими на ход всей международной жизни и, следовательно, внимание наше мы можем обращать лишь на те из революций, которые способны приобрести значение революции мирового масштаба.

Мы, значит, спрашиваем себя:

— Каково должно быть содержание революционной программы для того, чтобы очень большая страна могла увлечься ею?

— Наличие каких условий требуется для того, чтобы подобного рода программа могла осуществиться хотя бы временно?

— При каких условиях революция в одной из крупных стран способна превратиться в мировую революцию?

Отвечаем:

— Очень большая страна, правительственное устройство которой находится в весьма отсталом состоянии, и в которой относительные спокойствие и благополучие поддерживаются путем гнета и принуждения, — предполагает население весьма пестрого национального состава, части которого живут своею обособленною жизнью и держатся в повиновении целому на основании девиза: *divide et impera*, разделяй и властвуй. Желая привлечь к себе в таких странах симпатии наиболее широких народных масс — т.е. масс, стоящих в большинстве на очень низком культурном уровне и находящихся в самых разнообразных культурных условиях, соответствующая революционная программа должна быть в состоянии удовлетворять всех и каждого

без различия их национального происхождения, степени духовного развития и при единственном лишь условии, что приемлющий ее тяжело страдает от существующего социального и политического неустройства.

По этой причине революционная программа, о которой речь, должна быть весьма простой по составу своих мыслей и для всех легко понятной. Она должна содержать в себе требования, весьма заманчивые для всякого, кто страдает и морально, и материально. Она должна обращаться к инстинктам и чувствам наиболее простым и естественным. Она должна взывать к справедливости, но к справедливости упрощенной, грубой, карающей и обещающей награды.

Чем более обширна и радикальна революционная программа, тем лучше она должна быть разработана и тем дольше принуждена она ожидать своего возможного осуществления. Силою вещей революционер с широкими политическими горизонтами, не желающий довольствоваться посредственными результатами или преходящими успехами и принимаемый за утописта даже в среде своих ближайших друзей, превращается в *теоретика революции*.

Он развивает и оттачивает программу своей партии. Он старается укрепить и углубить ее научные основы. Он заботливо собирает и систематизирует все данные, исторические, статистические и другие, так или иначе полезные для революционного дела. Он тщательно изучает основы революционной тактики. Он ясно отдает себе отчет во всем, что теоретически благоприятно или неблагоприятно для революции, что может обусловить ее окончательный успех или, напротив, полное ее крушение.

Еще раз: — какое разительное отличие от либерала, а тем более от консерватора. Консерватор не призван создавать нечто совершенно новое и преодолевать непреодолимые препятствия. Для своей текущей работы он имеет в своем распоряжении все, что ему нужно. Все основные проблемы его политического направления обдуманы и разрешены с давних пор. Все заранее приготовлено; на все имеется традиция, привычка, система и порядок. Ему достаточно лишь *продолжать* — почти автоматически, совершенно спокойно. Свое внимание ему приходится

обращать лишь на детали и на нюансы, на изменения второстепенного значения. Даже наиболее решающие события ему не представляются исключительными и чрезвычайными, требующими новых методов действия и новых принципиальных предпосылок. Он вообще не способен представить себе, чтобы возможны были такие обстоятельства, при которых возникал бы вопрос о новых методах и о новых предпосылках. А тогда для чего же ему всякие «теоретические обоснования», всякие проблемы тактики, упорные подготовительные работы — словом все то, что от противников его, революционеров, требует исключительных личных качеств и почти сверхчеловеческого напряжения воли?

В конечном счете отмеченная разница в положении революционера и консерватора сводится к очень простому общему правилу: чем труднее данному лицу достичь желанной политической цели, тем больше разного рода усилий должно быть сделано им. И обратно: чем легче цель, тем меньше нужно для нее усилий. При желании можно прибавить: в той мере, в какой невозможно достичь желаемого эффекта с помощью одних только «честных» приемов, политик по необходимости обращается к приемам менее безукоризненным, а то и просто бесчестным. Последнее в одинаковой мере относится не только к политикам-революционерам, но и к либералам, и к консерваторам. Либерализм и консерватизм, стало быть, ни с какой стороны не являются гарантией максимальной этической безукоризненности своих служителей. Здесь, быть может, с особенной наглядностью сказывается, насколько мало способны покрывать друг друга представления об этически совершенном (*о нравственности*) и представления о моральности и праве.

В современную нам эпоху — а, по существу, и во все вообще эпохи — наиболее широкой, законченной и типичной революционной программой является программа *революционного социализма*. Взятые в своем чисто политическом аспекте, сущность и руководящая тенденция социализма сводятся к *полному объединению* условий жизни всех людей, к единству всех, к требованию единой организации

всех в качестве людей трудящихся. Долой всякое неравенство и лживое, искусственное равенство. Вперед от демократии, лицемерно провозглашающей это равенство, чтобы вечно поддерживать самые разительные неравенства! Пусть будут отменены права большинства над меньшинствами. Каждому по потребностям. Соединяйтесь же пролетарии всех стран, чтобы — победив всех врагов своих — стать в будущем единой социальной силой во всем мире и во всем человечестве! Во имя этой высокой цели — беспощадная борьба со всеми притеснителями и эксплуататорами. А после... после уже более никакой закаменелой морали и никакого двуличного права; но самое совершенное и неукоснительное приспособление всех социальных правил ко всем решительно, даже наиболее случайным и преходящим, требованиям социальной жизни. То есть: — неограниченное господство Политики.

Социалисты всегда отчетливо сознавали, насколько трудно в современных условиях достичь подобного идеала. Потому-то, несомненно, они и выработали с таким трудолюбием и с такой настойчивостью свою «научную» социалистическую доктрину; потому-то они так крепко и держатся за нее, как за главнейшее оружие; потому-то они и являются лучшими специалистами в вопросах тактики, виртуозами революционной пропаганды и суровыми рыцарями дисциплины.

Однако, я говорю здесь, конечно, не о тех социалистах, что социалисты лишь по названию, и не о тех революционерах, что революционер лишь по паспорту.

III

Среди всех великих народов *Русский Народ* наиболее предрасположен играть мировую роль с помощью средств по преимуществу «политических» и революционных.

Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить его историю, его этнический состав, его правительственный строй до марта 1917 года, основной характер его политической идеологии.

Русская история...

Насколько она мятежна, хаотична, изначально лишена всего, что было бы в состоянии кристаллизироваться

и сделаться прочным и устойчивым. Сколько разного рода кризисов, неожиданных перемен, революций, войн, социальных движений! Какие разные люди — и как по разному — правили ею!

Не станем слишком далеко углубляться в века и вызовем в памяти лишь черты России царского «Московского» периода и периода «Петербургского», императорского.

Ценою героических усилий народных масс, гибкостью, осторожностью и настойчивостью московских князей Русь избавилась от тяготевшего над нею татарского ига и широким шагом пошла навстречу новой жизни. Раньше всего ей предстояло укрепить державную царскую власть и защитить шаткие государственные границы от многочисленных опасных врагов.

Выполнению первой задачи много содействовал царь **Иван IV Грозный**⁵⁸, сознательно и безжалостно искоренявший старинное русское боярство, враждебное идее сильной монархической власти. Этому царю, собственноручно убившему одного из своих собственных сыновей, наследовал царевич **Федор**⁵⁹, богобоязненный, слабый, невзрачный, игрушка своих окружающих, а в первую очередь — послушное орудие **Бориса Годунова**⁶⁰. Последний, татарин по происхождению, умудрился сделаться шурином нового царя, умертвил другого его брата, а по смерти **Федора** сам взошел на трон православных царей московских. Далее следует беспокойный период междоусобицы, — «Смутное Время», — занятие Москвы поляками, создание народных ополчений на защиту родной страны, земские Соборы. Наконец, открывается царствование Дома Романовых, продолжавшееся с небольшим триста лет.

За первыми двумя Романовыми, **Михаилом**⁶¹ и **Алексеем**⁶², архаическими и безличными, появляется **Петр Великий**⁶³, революционер на троне, сразу превративший Святую Русь в государство европейской складки (хотя бы лишь по заданиям), — в «империю». Первый русский император не остановился перед тем, чтобы приговорить к смерти единственного сына за противодействие своим стремительным и грандиозным реформам, вследствие чего, по смерти **Петра**, трон русский перешел к его жене

императрице **Екатерине I⁶⁴**, простой лифляндке, необразованной и не отличавшейся чрезмерной добродетельностью. За первой императрицей последовало в итоге дворцовых переворотов несколько других императриц, весьма разнообразного происхождения, управлявших Россией при помощи своих любовников, иногда весьма многочисленных, главной политической обязанностью которых было бороться против державных притязаний высшего или среднего дворянства. Попутно были убиты один претендент на престол и один детронированный своею женой император: **Петр III⁶⁵** (муж **Екатерины II⁶⁶**).

После **Екатерины II**, выдающейся государственной деятельницы, много содействовавшей прогрессу в России и крепко дружившей с предшественниками французской революции, пока не наступила сама эта революция, императором всероссийским сделался ее сын, **Павел I⁶⁷**. Это был человек совершенно неуравновешенный, чтобы не сказать ненормальный; истинное его происхождение внушало серьезные сомнения. Его убили в порядке очередного дворцового переворота, — с ведома двух его сыновей. Старший из этих сыновей, **Александр I⁶⁸**, стал вместо отца у кормила Российского правления. Мистик, мечтатель, заклятый враг всякого деспотизма, настоятельно стремившийся в начале своего царствования к введению в России радикальной конституции западного образца, он кончил тем, что оказался оплотом не только страшной внутренней реакции, но и реакции мировой — сделавшись главой недоброй памяти Священного Союза. Потом он вдруг загадочно сошел с исторической сцены и, по народному мнению, кончил свою жизнь святым отшельником в далекой Сибири, в Томской губернии. Преемником этого императора явился его брат, **Николай I⁶⁹**, взявший власть в свои руки в трагической обстановке революции 14 декабря 1825 года. Грубый, невежественный, ограниченный, закоренелый реакционер, он тридцать лет держал Россию в страшных тисках, а затем отравился в итоге неудач Крымской войны. Сын его, **Александр II⁷⁰**, начал свое царствование с того, что решительно порвал с политикой своего отца и открыл короткую «эпоху великих реформ»,

за которой последовала долгая эпоха реакции. Когда Александр II пал жертвой революционного террора, на престол вступил «царь-миротворец» Александр III⁷¹, болезненно пристрастный к вину и от вина умерший. Следующая очередь оказалась за последним из Романовых, Николаем II⁷², отдавшимся во власть темному проходимцу Распутину⁷³ и бессудно расстрелянным вместе с семьей во время своей ссылки, в 1918 году.

Такова личная судьба русских самодержцев почти за четыре последних столетия русской истории. Как и во всякой другой абсолютистской или полуабсолютистской стране, она по необходимости составляет одну из существеннейших частей истории России вообще.

Не правда ли, какая характерная, — какая ужасающе яркая картина?

Все эти цари, императоры и императрицы, смешанной и даже сомнительной крови, весьма часто совершенно чуждые управляемой ими стране, одни ограниченные, другие сумасшедшие, третьи чадоубийцы и даже отцеубийцы, почти все до одного плохо начавшие или плохо кончившие, — разумеется, менее всего на свете были призваны внушить русскому народу идею устойчивости и святости верховной государственной власти. Тщетно было бы искать у них прекрасных и благородных в своей вековой закреплённости моральных традиций или трезвого и продуманного уважения к праву. Мораль и право были одинаково непонятны и ненужны им. Превыше их была для них их собственная воля, проявлявшая себя совершенно по-разному в зависимости от обстоятельств.

Одни из них являлись, как мы видели, подлинными реформаторами, почти революционерами, далеко обгонявшими в своей деятельности и развитии своего народа и свое время, другие были реакционерами, третьи — сначала реформаторами, потом реакционерами. Абсолютные владыки в своей стране, они гораздо больше повиновались, чем повелевали. Повиновались собственным страстям, заинтересованным нащептываниям своих окружающих, но прежде всего, — обстоятельствам, моменту. Это были самые послушные слуги момента и потому-то в большинстве случаев такие плохие политики.

Как можно было заранее ожидать, наиболее надежной опорой русского престола сделалось русское дворянство, а в особенности, высшая русская аристократия. Потомки владетельных русских князей, боровшихся в свое время против усиления на Руси единой царской власти, постепенно потеряли память о своем собственном былом самодержавии и стали платить царям рабской преданностью за великие милости и привилегии, получаемые от них. И тем не менее русские аристократы оказались большими мастерами дворцовых переворотов, немало их участвовало в разное время в революционных движениях и восстаниях, а некоторые действовали даже в качестве террористов. В частности, убийство отвратительного Распутина лицами, весьма близкими к царской фамилии и ко двору, невольно вызывает в памяти технику русских государственных переворотов в XVIII веке. И разве накануне февральской революции 1917 года не обсуждались в Петрограде планы убийства Николая II, т.е. нового дворцового переворота, в целях радикального разрешения безнадежно запутавшегося политического кризиса? В настоящее время сообщения об этих планах передаются преимущественно лишь как слухи; но если история подтвердит их, то она подтвердит одновременно и то, что подобный тип революционных настроений и замыслов гнезвился главным образом в среде высшего русского дворянства.

Так или иначе, но мы вправе считать, что «революционный дух» не был вполне чужд ни самому царствующему дому, ни вернейшим его слугам голубой крови и белой кости.

А какого рода жизнью жили тем временем русские народные массы?

Воистину невыносимой.

Лучшим доказательством тому служат многочисленные народные волнения, восстания и бунты по причинам то религиозного, то политического, то экономического и социального характера. В XVII-м столетии, например, русское правительство жестоко расправилось с громадным количеством противников церковной реформы, — «староверами». В том же XVII-м веке широкие волны недоволь-

ных устремились к границам русской земли и за границу, за пределы досягаемости царя и его страшных слуг. Все более организованною и грозною силою становится свободолюбивое, вольное казачество с его своеобразным анархо-коммунистическим укладом жизни. Некий вор и разбойник, **Стенька Разин**⁷⁴, устраивает грандиозное восстание, распространившееся на все необъятные просторы матушки-Волги и причинившее немало хлопот и забот батюшке-царю. В следующем, XVIII-м столетии крестьяне, прикрепленные к помещикам и к их поместьям, массами поднимаются против своих угнетателей и жгут, режут и грабят в имениях и городах под водительством казака **Емельки Пугачева**⁷⁵. В XIX-м веке, особенно в царствование **Николая I**, крестьянские волнения и восстания делаются все более и более частыми. Позже они наводят Царя-Освободителя на мысль, что «лучше дать реформу сверху, чем ждать, что она сама сделается снизу». Едва только начала вставать на ноги русская промышленность и стал образовываться русский рабочий класс, как открылся — во второй половине XIX века — период непрерывных рабочих волнений.

Было бы странно ожидать, чтобы, живя среди всех этих потрясений, народ русский выработал в себе какое-либо чувство порядка или любовь к создавшемуся быту. Жертва тиранической власти своих монархов, поверженный в самую глубокую нужду, сознательно оберегаемый от просвещения, нарочито приучаемый правительством к пьянству в целях поддержания бюджетного равновесия в государстве («пьяный бюджет»), вплоть до самого последнего времени лишенный элементарнейших гражданских и публичных прав, — откуда мог бы наш камаринский мужик почерпнуть уважение к Праву или создать в себе прочные устои Морали? Религия настойчиво внушала ему сносить всякое иго. Значит, надо было сносить и иго государства, подавляя в себе ненависть к нему только для того, чтобы она все более и более накоплялась где-то в глубинах души. Однако, даже и под целительным покровом церкви нельзя терпеть без конца и без малейшей надежды на лучшие дни. И надежда была у темного русского народа. Наивная и смутная надежда, что все изменится вдруг в один прекрасный день и что

вековые страдания сразу будут искуплены. Зазвонят колокола невидимого града Китежа, «проснется земля»... Кто же произведет желанное чудо? Про то, пожалуй, даже и старики не знают; а коли и знают, так не сказывают. Быть может, его сделает тот же царь, который сам-то к народу добрый и хочет для него правды, да только окружен плохими, корыстолюбивыми приближенными. Так вот пошлет царь всех своих советников к чертям и даст стране законы, какие надо, настоящие. Он их уже, может быть, и дал давно, да только министры скрывают их от народа. А коли не царь, так там в Питере, да в Москве найдутся люди, которые разберут... Там есть такие люди...

Легко себе представить после всего сказанного, какие запасы страшного взрывчатого или горючего материала таила в себе душа русского простолюдина.

Легко себе представить и то, на что способна русская народная душа, однажды воспламененная.

Чем тогда остановить страшный взрыв ее чувств и дикий пожар ее воли?

Религией?

Призывами к Морали?

Нет. В глубинах своей совести даже и знаменитый камаринский мужик твердо знает, что религия и мораль на его стороне.

Правом?

Но он решительно ничего не понимает в праве и не имеет к нему ни малейшего вкуса.

Здравый смысл и практический расчет выручат?

Однако, откуда у него взяться этим западноевропейским добродетелям? — Приученный к самым тяжелым страданиям, он не боится ничего. Ему нечего терять. Ему нечего жалеть.

Но вместе со всем этим никак нельзя забывать, что русский народ — великий народ, богатый лучшими душевными качествами, чрезвычайно способный к самоусовершенствованию и прогрессу и осуществляющий прогресс с поразительной быстротой. Россия пятьдесят лет тому назад и та, какой она была ко дню революции, это две совершенно разные России. Несмотря на отсталое состояние своей цивилизации, она не только сумела отстоять себя от всех более цивилизованных соседей, угрожавших ей,

но расширить безгранично свои пределы и осуществить громадную культурную миссию внутреннюю и внешнюю.

Ко времени революции население России состояло более чем из 160 различных народностей. Среди них великорусская народность являлась тою, которая устроила русское государство и которая оставила наиболее сильный отпечаток на всей культуре. Остальные народности вошли в состав России в силу самых разнообразных оснований: более всего — в порядке мирной колонизации русскими элементами земель инородцев, часто путем завоевания, иногда в итоге добровольного присоединения к России, иногда через переселение в Россию чужеродных ей элементов. Вся относительная заботливость правительства о населении целиком сосредоточивалась на одних только русских, которые в правовом отношении обладали всеми признаками «господствующей нации». Напротив, очень многие из национальностей имели достаточно оснований считать себя угнетаемыми Россией и таили против нее острую горечь уязвленного национального самолюбия.

Уже самый этот факт политического угнетения весьма значительной части российского населения — включая сюда отчасти даже украинцев — создавал в России атмосферу, исключительно благоприятную для разного рода революционных брожений. Всегда оказывались налицо группировки, готовые по национальным мотивам действовать против русского правительства и жаждущие его окончательного низвержения.

Едва ли еще большее значение имел отмеченный факт для политической психологии самих русских. Однако, дойдя до настоящего пункта, мы в дальнейшем должны сосредоточить все наше внимание исключительно на русских *образованных классах* — или на т. наз. русской «интеллигенции», — как на главнейших носителях русского политического сознания.

Это она, по преимуществу, — русская интеллигенция — отражала и формировала русское общественное мнение. Это она невольно приобрела монополию представлять политическую волю русского народа. Несколько раньше нами отмечалась та роль, которую у «политических» народов играют меньшинства и вожаки. Именно эту роль и выполняла русская интеллигенция в отношении всех остальных масс русского народа: она была его политически руководящим меньшинством (и каким ничтожным меньшинством!), а вместе с тем это она же поставляла для него политических и общественных вождей.

Русские интеллигенты обречены были особенно тяжело страдать от чудовищных недостатков политического строя родной страны, т.к. видели эти недостатки лучше, чем кто-либо иной. В силу своей утонченной духовной организации они были более всех чувствительны к несправедливости и к окружающему их злу. Без риска преувеличения можно утверждать, что положение самой русской интеллигенции в России было в высшей степени трагическим.

И вот почему:

— Она чувствовала себя частью народа великого, сильного, богатого, способного к прогрессу. Она знала прошлое своей страны. Она вправе была ожидать для нее великого будущего. И вместе с тем, приходилось жить под гнетом архаического режима, видеть над собой правительство, опирающееся на народную темноту и ее поощряющее, отчетливо сознавать тяжесть положения всех тех, кто не принадлежит к маленькой группе привилегированных, безнадежно развращенных привычкой к привилегиям. Русскому интеллигенту хотелось быть гордым своим отечеством и он не мог быть гордым им, зная всю его отсталость, всю его несправедливость, всё его неустройство. В большинстве великороссы, сплошь и рядом дворяне и лица, окончившие университет, интеллигенты наши пользовались такими преимуществами правового положения, которое при прочих русских условиях вполне могло бы сделать им их личную жизнь легкой и приятной. Но как же было им пользоваться какими-либо выгодами,

когда главной их задачей было радикально изменить правовое положение всех и каждого? Они стремились служить прогрессу своей страны, — это было чрезвычайно трудно, так как всякий прогресс признавался правительством опасным или подозрительным. Лучше было бы, конечно, просто ни о чем не думать, не ставить себе никаких задач, а жить в свое собственное удовольствие. Однако, глубокое сознание социальной ответственности решительно запрещало это русскому интеллигенту. Жить только для того, чтобы наслаждаться жизнью, означало бы для него перестать быть интеллигентом.

«Народ» русский погружен во тьму — нужно его просвещать. Он живет среди ужасающей нищеты — нужно улучшить его материальное благосостояние. Он беспомощен в борьбе с болезнями — необходимо его лечить. У него нет никаких прав — у него должны быть права человека и гражданина. Весьма многие из русских подданных лишены важнейших прав только потому, что они нерусского происхождения — будем же бороться рука об руку с ними за расширение их национальных прав. Россия вынуждена жить в соседстве с западными народами, унаследовавшими от прошлого весьма высокую цивилизацию; — следовательно, нужно сделать так, чтобы она как можно скорее оказалась в состоянии зажить с этими народами одной общей жизнью. Каждый народ непременно выполняет ту или иную историческую миссию; малый народ — малую, великий — великую. Необходимо, чтобы великий русский народ осознал свое мировое призвание и принялся сознательно выполнять его. Все это русские интеллигенты считали *себя* обязанными делать за весь русский народ — во имя его и его именем.

Короче говоря, в вечном российском хаосе на интеллигенции русской лежала обязанность удовлетворять всем очередным требованиям социального прогресса родной страны. В одно и то же время ей приходилось служить выразительницей и ее моральных запросов, и ее жажды права, и ее политического действия. Отсюда-то — *по преимуществу этический характер жизнепонимания русской интеллигенции и ее совершенно исключительное значение в новой и новейшей истории России.*

Думать и действовать за русский народ в условиях жизни деспотической и полудеспотической России было для русских интеллигентов подвигом весьма трудным. Так как правительство неизменно обнаруживало самую суровую жестокость по отношению ко всем их попыткам служить народу, то приходилось «идти против правительства» и обрекать себя на всевозможные кары. В силу этого, противодействие правительству сделалось как бы традицией в русских интеллигентских кругах. Знаменитый Герцен⁷⁶ получал для своей газеты «Колокол»⁷⁷ такие сведения о всех действиях и намерениях правительства, которые могли исходить лишь из кругов, наиболее близко стоящих к министерствам и ко Двору. Так далеко заходило это противодействие. Скрывать у себя запрещенную революционную литературу и помогать всячески революционерам считалось как бы обязательным для каждого порядочного человека. Быть «под надзором полиции» или подвергнуться «высылке», носить титул «политического преступника» являлось предметом гордости для русского интеллигента и обеспечивало ему уважение даже его врагов и преследователей. Сверх всего, «работать на пользу народа» значило отказаться от жизни мало-мальски удобной и приятной, утратить вкус ко всякому комфорту, перестать быть практичным и экономным, отодвинуть на задний план радости семейные и личные. Немного выше мы уже говорили обо всем этом, как об условиях жизни и деятельности всяких истинных революционеров вообще; не наша вина, что теперь то же самое нам пришлось снова повторить, описывая духовный облик русских интеллигентов. Воистину, они менее чем кто-либо стремились составить себе состояние или обеспечить себе видное положение, или прочно обеспечить благополучие своей семьи. Их жизненный уклад весьма редко сообразовался с каким-либо заранее выработанным планом, в котором все было бы и предусмотрено, и взвешено.

В постоянном единоборстве с правительством и правящими кругами, русский интеллигент не сумел вместе с тем достаточно близко подойти к «народу», которому служил и ради которого жертвовал всем. Как очень часто говорится еще и до сих пор, — он не сумел «слиться с ним».

И действительно: — он служил ему именно потому, что не был, как он. «Народ» и интеллигенты не понимали друг друга в России. Психология, быт, обычаи и привычки, воспитание и политические воззрения — все было различно и как-то несоизмеримо в русских народных массах и в русской интеллигенции. Отсюда-то и проистекала трагическая тщетность всех попыток этой последней «слиться» и «воссоединиться» с народом.

Прочное духовное единство народа и интеллигенции в России, несомненно, являлось одним из высших русских культурных идеалов. Но пока идеал этот оставался недостижимым и недостижимым, русские интеллигенты были обречены чувствовать себя изолированными в своей стране, — «беспочвенными», — лишенными достаточных реальных сил, чтобы воздействовать планомерно на правительство или руководить народом и определять таким путем ход русской политической жизни.

Эта изолированность и слабость русской интеллигенции обнаруживались с тем большею яркостью, что и в ее собственных рядах не было единства мыслей и близости политических темпераментов. Благодаря исключительно суровой цензуре, отсутствию права собраний и союзов (все это вплоть до XX-го века) русская политическая идеология не имела возможности правильно развиваться и выделить какую-либо одну господствующую доктрину. Отдельные течения этой идеологии шли по самым разнообразным направлениям, то временно сливаясь, то пересекаясь, то оставаясь все время независимыми друг от друга. Главной связью между разрозненными группами русских интеллигентов — помимо чисто формального идеала прогресса и общего блага — обычно служили выдающиеся русские публицисты, «властители дум», «учителя» и «вожди», одинаково уважаемые всей русской интеллигенцией, а особенно — русским юношеством. Наверное, эта-то именно внутренняя разрозненность русской интеллигенции и была главной причиной, почему так велика бывала во всех русских политических движениях роль отдельных личностей, и почему русские интеллигенты так привыкли следовать за кем-нибудь как за учителем и вождем.

Так как контраст между идеалом и действительностью неизменно оказывался чрезвычайно резким, так как надежды на достижение достаточного общественно-политического прогресса рушились одна за другой, то волей-неволей русским интеллигентам приходилось сосредоточивать все свое внимание на принципах самого общего характера, на формулах, наиболее элементарных, и на целях, наиболее далеких, теоретичных и абстрактных при всей их жизненной необходимости. Детали программы и ее систематическое развитие их интересовали несравнимо менее. Мы вправе были бы поэтому утверждать, что русская интеллигенция проявляла себя «непрактичной» не только в своей жизни и в своих действиях, но и в своей мысли: идеи и доктрины притягивали ее к себе тем сильнее, чем более они оказывались широкими, абстрактными и неосуществимыми.

Последнее обстоятельство в свою очередь объясняет нам ту чрезвычайно характерную и существенную черту былой русской действительности, что с давних уже пор Россия оказывалась обычно в весьма близком соприкосновении со всеми идейными течениями *Запада*.

Разумеется, западные политические идеи интересовали русского интеллигента прежде всего потому, что они давали ему оружие против официальной России и подкрепляли в нем дух протеста. Затем, они были важны ему тем, что — «шли впереди» русских политических идей и намечали успешное разрешение многих проблем, важных не только для западной, но и для русской жизни. Сталкиваясь с этими проблемами, и пытаясь разрешить их на свой собственный лад, русский интеллигент естественно желал предварительно посмотреть, как разрешались они в других странах, — людьми более искушенными в политической жизни, чем он сам.

Однако, только что указанных причин едва ли достаточно, чтобы объяснить огромное влияние в России западных политических идей. Главною причиною была здесь, быть может, следующая: — научные и философские авторитеты культурного, передового Запада весьма успешно удовлетворяли, во-первых, потребность русского интеллигента в непререкаемых авторитетах, — в только что упомянутых

«властителях дум», а, во-вторых, в виду своей явной неприменимости на русской почве, политические идеи тем-то и были особенно хороши, что шли навстречу его потребности в теориях и принципах самых прогрессивных, самых отвлеченных и самых неосуществимых.

Вместе с тем, истина требует сказать, что русская политическая мысль редко довольствовалась чисто пассивным усвоением иностранных учений. Напротив. Она постоянно и настойчиво стремилась приспособить иностранные учения на специально русскую потребу, для чего охотно занималась их трансформированием, а если встречалась надобность, то и решительным их преодолением, отрицанием. В этой борьбе с западными идеями, наряду со стремлением воспринимать их, ярче всего, пожалуй, сказывалась самая заветная мечта русской интеллигенции — видеть свою родину, идущую нога в ногу со всем передовым человечеством, обеспечившею себе широкое участие в творчестве всемирного прогресса и по праву занимающую *свое особое место среди народов*.

Каково должно быть это международное место России и что Россия имеет сказать своему человечеству? — Из всех проблем, стоявших перед русской политической мыслью, это была, несомненно, самая трудная, но вместе с тем и наиболее важная проблема всей вообще русской политической идеологии.

Подводя итог всему сказанному до сих пор о наиболее характерных чертах и тенденциях русской политической мысли в ее интеллигентском отображении, мы вправе формулировать его следующим образом:

— Политическая мысль дореволюционной русской интеллигенции требовала:

Бороться против настоящего России.

Служить делу наиболее высокого политического и социального прогресса в России.

Служить — значит жертвовать всем поставленному пред собой идеалу.

Примириться и объединиться, слиться с народом и даже вовсе устранить всякое различие «народа» и правящих, низших и высших.

Войти в наиболее тесное и правильное сотрудничество с остальным человечеством.

Понять и выполнить специальную историческую миссию России, выпадающую на ее долю в качестве великого народа и могучей исторической и этической силы.

Следует ли прибавлять, что эти черты и тенденции проявляли себя весьма различно, в зависимости от эпохи и от политического темперамента действующих лиц? Однако, относящиеся сюда различия, в свою очередь, поучительны в самой высокой степени.

Лично я подразделяю каждое из главнейших течений русской политической и социальной мысли, начиная с конца XVIII-го века, на три основных периода: — на период великих индивидуальных попыток, — на период попыток коллективных, групповых и кружковых, и на период образования и работы политических партий.

Первый период характеризуется для меня прежде всего исключительным влиянием отдельных личностей в их роли «вождей» или даже — их совершенно индивидуальным действием. В таких условиях работали в свое время Новиков⁷⁶, Радищев⁷⁹, Пестель⁸⁰, Чаадаев⁸¹, а позже Герцен и Бакунин⁸².

В течение второго своего периода каждая данная политическая идеология становится широким «движением», охватывающим большое число единомышленников, но она еще не имеет ни обязательной программы, ни строго определенной организации. Во главе движения по-прежнему остаются его выдающиеся родоначальники. Будучи лицами крупных дарований, они по-прежнему оказывают огромное влияние на своих последователей; однако, теперь влияние каждого из них в отдельности уменьшается, т[ак] ск[азать] пропорционально числу лиц, совместно руководящих одним и тем же движением.

Что же касается третьего периода, — периода политических партий, — то для революционных течений он начинается незадолго до 1905 года с его конституционными преобразованиями, а для течений либеральных и консервативных он связывается уже с созданием и функционированием Государственной Думы. Благодаря

революции, длящейся до сего дня, этот последний период был сравнительно весьма коротким. Краткость срока не помешала ему, тем не менее, произвести весьма серьезные изменения в русской политической психологии.

Ослабление цензуры в годы русского конституционализма, установление права собраний и союзов, возможность пользоваться трибуной Государственной Думы для открытого выражения своих политических взглядов, — все это после 1905 года умиротворило одних, дало легальные пути для заявления своих протестов другим, ослабило надежды на возможность новой революции у третьих. Создался целый ряд политических партий и группировок, принявших борьбу друг с другом за политическое влияние, но вместе с тем и начавших искать форм взаимного сотрудничества ко всеобщему благу. Пришлось заняться вопросами, стоящими на очереди дня и имеющими непосредственно практическое значение, т.к. общественное мнение прежде всего захотело дела и реальных результатов. Довольно мечтаний и отвлеченных теорий. Надо становиться трезвыми. И, действительно, большинство русских интеллигентов становится значительно более трезвыми, чем еще недавно. В частности, как раз те из них, что вошли в состав Государственной Думы, не являются уже исключительно лишь служителями народа. Вырабатывается постепенно тип политика и даже — политикана. Нужно, ведь, не только уметь жертвовать собой, но и в благоприятном свете выступить перед своими избирателями, и обеспечить себе избрание или переизбрание. Пророки и «властители дум» не так уже необходимы теперь. Страна потребовала прежде всего — депутатов.

По всем приведенным причинам представители русской политической мысли в период после 1905 года и по 1917-ый оказываются совсем не теми, чем они были раньше, и общественно-политическое влияние их уже не имеет былых размеров. В большей своей части русская политическая мысль сделалась значительно прозаичнее, реалистичнее. Ценою утраты своей былой смелости и возвышенности она приобрела способность *давить* на правительство и деловым образом участвовать в направлении хода государственных дел.

Не будем, однако, забывать, что мы все время говорим о русской интеллигенции, что именно в ее лоне обнаружались по преимуществу изменения политической психологии, произведенные в России созданием конституционного (или, вернее, полуконституционного) режима. Психология же русских «народных масс» осталась почти такую же или даже совершенно такую же, как была раньше.

А в чем же проявилось основное изменение интеллигентской русской психологии? В том, очевидно, что русский интеллигент начал постепенно терять представление о себе как об особой и единственной силе русского прогресса. Глубоко этический подход к жизни начал заменяться в нем более поверхностным отношением к ней. И во всяком случае, если он все еще стремился «служить народу», «жертвовать» ради него всем, если ему все еще оставались дороги мечты об исторической миссии России, то теперь все это постепенно становилось совсем иным... «Новые птицы — новые песни», сказал бы русский интеллигент 40-х или 60-х годов прошлого века, взирая на своих наследников в наши дни. И он вправе был бы прибавить, что и птицы, и песни в массе своей далеко не стали лучше в позднейших, предреволюционных условиях русской жизни.

Наконец, — последнее замечание:

— В течение последнего периода развития русской политической мысли, оказавшегося одновременным для всех ее разветвлений, — течения консервативное, либеральное и революционное выявились и самоопределились в ней с большой отчетливостью. Изменение психологического типа русского интеллигента произошло, несомненно, во всех трех лагерях — и у консерваторов, и у либералов, и у революционеров. *Но не везде оно сказалось в одинаковой мере.* Всего разительнее оно было в лагере консервативном; всего незаметнее — в лагере революционном. *На революционеров русских как бы сама собой легла задача стать главными хранителями русских интеллигентских традиций.* И чем более крайним проявлял себя русский революционер, тем больше старого русского интеллигентского духа выражалось в нем.

Этому факту приходится придавать совершенно исключительное историческое и политическое значение.

Быть может, только тот и способен вполне понять природу и значение Великой Русской Революции, кто положит его в центре своего отношения к ней. Октябрьская революция есть прежде всего интеллигентская русская революция. Именно поэтому она сумела стать Великой Русской. Если же волею судеб русской революции придется найти завершение в революции мировой, то в этом прежде всего проявится мировое значение дум и устремлений русской интеллигенции.

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. РОССИЯ И ЛЕНИН.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

I

Наиболее блестящая эпоха русского консерватизма совпадает с расцветом в первой половине XIX века так называемого «славянофильства».

Представители этой школы заимствовали из немецкой идеалистической философии мысль об исторической миссии народов и применили ее к России.

Согласно им Запад «сгнил». Он больше уже не в состоянии дать что-либо человечеству. Будущее принадлежит России.

Будущее принадлежит России потому, что она унаследовала традиции религиозной культуры Востока, что она одна только способна продолжить дело Византии и что только она одна выражает истинное христианство.

Чтобы выполнить свою историческую миссию, Россия должна оставаться верной трем высшим принципам, неразрывно связанным друг с другом. Согласно позднейшей, наиболее сжатой и несколько огрубленной формулировке этих принципов, они сводятся к следующему: — к *православию* в области религии; — к *самодержавию* царя в качестве незыблемого политического режима; — и к *русской народности* — в качестве основы культуры.

Однако, эти триединые самодержавие, православие и народность не следует брать такими, каковы они были в современной славянофилам действительности. Их нужно брать в наиболее углубленном, в истинном смысле, а исторического их воплощения искать по преимуществу в прошлом, в допетровскую эпоху.

Смысл русского православия является гармоническое сочетание единства верующих с их свободой в христианской любви.

Смысл русского самодержавия заключается в том, чтобы управлять и быть управляемыми, подчиняясь лишь чистым

вдохновениям добра, т.е. в наиболее тесной связи *между царем и народом* на основе их взаимной любви, а не в силу правовых постановлений и взаимоотношений, всегда несправедливых. Моральный долг царя в том, чтобы быть единственным и неограниченным источником необходимых в общежитии юридических норм, а главное — единственным полномочным политическим руководителем своей страны. А долг русского народа, не имеющего нужды в несовершенных правах и не знающего, что такое политика, заключается в повиновении одним только абсолютным этическим требованиям, — морали; а следовательно, царю.

Что же касается смысла, вкладываемого славянофилами в понятие русской народности, то он столько же вытекает из представлений о русском православии и русском самодержавии, сколько и из общинного владения русских крестьян землею. Русская народность неотделима от русской крестьянской общины, а община эта в свою очередь основывается (как и власть, и церковь) на своего рода врожденной взаимной любви русских крестьян друг к другу или на ощущении ими их мистического родства.

Не трудно видеть, что начало любви, как абсолютное, служит центральной осью для всей славянофильской философии. С помощью этого начала — морального по самой своей природе и не допускающего ничего, кроме морали — славянофилы надеялись найти способы улучшить условия грустной российской действительности без того, чтобы хоть сколько-нибудь потрясти исконные устои русской жизни.

Сами славянофилы были убеждены, что требуя некоторых общественно-политических изменений, они одинаково отличались и от отечественных революционеров, и от отечественных консерваторов. Но, конечно, гораздо более прав был московский попечитель Назимов⁸³, отрекомендовавший правительству славянофилов в качестве «людей весьма мирных, благочестивых отцов семейств, вовсе не помышляющих о нарушении законного порядка вещей». В этой характеристике славянофилы выступают как подлинные *консерваторы*. Недаром один из главных их вождей, А. С. Хомяков⁸⁴, заявил однажды в небольшом кружке, что «наш девиз *taceamus igitur*⁸⁵».

И действительно: достаточно вспомнить элементный состав консерватизма и психологический портрет консерватора, намеченные нами выше, чтобы признать русских славянофилов наиболее типичными и законченными консерваторами. Налицо все до одной необходимые черты. Глубокая религиозность, дух традиции, ищущий поучения лишь в прошлом, национализм, монархизм и империализм, не говоря уже о воинственных и аристократических вкусах, — все подтверждает здесь нашу основную мысль о том, что тождественная социальная необходимость порождает одинаковую политико-социальную идеологию в условиях внешне достаточно различных.

Из всех главнейших течений русской политической мысли славянофильское течение, будучи наиболее консервативным, наименее отражало ее типичные черты. Оппозиция славянофилов правительству ни в какой мере не была активной. Их жертвенные порывы исчерпывались религиозным смирением и покаянными мотивами. Их стремление к единению с народом разряжалось в идеализации русского мужичка, довольно неопределенной и чисто платонической. Проблему взаимоотношения между Россией и Западом они разрешали в направлении категорического отрицания европейской цивилизации и весьма мало оправдываемого действительностью превознесения цивилизации российской.

Что же удивительного в таком случае, что даже в наиболее блестящую эпоху славянофильства его вожди и приверженцы вращались в очень тесном кругу и не встречали сочувствия в широких слоях русской интеллигенции?

В последующие же периоды своего существования славянофильство или отказывалось от большинства важнейших своих догматов, чтобы в конце концов породить одну из революционных русских идеологий (даже, оно приводило к этому), или же, оставаясь верным своей консервативной природе, становилось все более и более ретроградным, пока не выродилось в махровый обскурантизм **Константина Леонтьева**⁸⁶. Согласно этому последнему, «в наше время основание сносного монастыря полезнее учреждения двух университетов и целой сотни реальных училищ». — Леонтьев взывает к царю «быть с нами

построже». Советует «подморозить Россию, чтобы она не жила». По его мнению, России нужны «ретроградные реформы»... Ей «пора научиться делать реакцию».

После введения в России конституции, русский консерватизм почти полностью отрешился от всех своих чисто славянофильских черт и, потеряв все свои яркие краски, ограничился преследованием конкретных политических целей. Свои принципы он оказался вынужденным черпать отныне — как то сделал «Союз 17 октября», — в незавершенных правительственных актах и невыполненных правительственных обещаниях.

Иными были судьбы русского либерализма.

Сделавшись мощным течением русской политической мысли в то же самое время, что и славянофильство, он объединил под именем «западников» всех тех, кто «не ждал света с Востока или из недр рабской России». В то время как славянофилы, по их же собственным признаниям, внушали к себе симпатии лишь в такой среде, в которой «душно» («архиереев, монахов, св. Синода»), вокруг виднейших «западников» группировались все жаждавшие «свежего воздуха» и реального блага для родной страны. В то время как лекции славянофила Шевырева⁸⁷ проходили без всякого успеха, лекции западника Грановского⁸⁸ собирали полную аудиторию восторженных слушателей, ознаменовав собой целую эпоху в истории русской мысли и русской общественности.

Что же ценила молодая Россия в этих западниках, в пламенном Белинском⁸⁹, в тихом Грановском?

Прежде всего — честное признание несовершенств русской жизни и отсталости русской цивилизации. Затем — глубокое убеждение, что Россия может и должна выйти на путь прогресса. Затем — обращение к лучшим чувствам человека с призывом служить всеобщему социальному благу. Всем было отлично известно, насколько правительство и полиция враждебны подобного рода мыслям и настроениям, и каким опасностям подвергались обычно их носители. Их судьба была судьбою малочисленных, но непоколебимых борцов за право против страшных сил несправедливости и тьмы. «Борцы за право» — постепенно

сделалось для них почти официальным определением. Запад служил для них примером и путеводной нитью, потому что — в их представлении — там уже осуществлен идеал жизни в духе права. Конституционный режим служил для них заветною мечтой. *Свобода* — высшая категория всякого правового мирозозерцания — была их идеалом.

Знаменитый Герцен вынужден был покинуть ряды западников и резко порвать с лучшими своими друзьями в тот момент, как он разочаровался в совершенствах западного конституционализма. Это интересно отметить, чтобы уяснить себе, насколько неразрывно идея *права* сочеталась в представлении русских либералов 40-х и 50-х годов прошлого века с идеей Запада. Пожалуй, не было бы ошибкой утверждать, что *они любили Запад за осуществление им идеала жизни в праве; и обратно: — они любили право, потому что это был для них Запад.*

С их точки зрения, главнейшая задача для России состояла в том, чтобы как можно скорее сделаться государством точь-в-точь таким же, как все наиболее передовые европейские государства. Тот же Герцен, не переставший быть либералом даже после того, как стал социалистом, писал в 1858 году: «Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надо выдумать».

Таким образом, кардинальная проблема во взаимоотношении России и «Европы» разрешалась русскими западниками в смысле переделки России на западный манер, в смысле растворения России в Западе. В этом только, стало быть, и могла выражаться историческая миссия России, поскольку о ней могли думать русские западники.

Но было бы большой ошибкой предполагать, что они стремились подавить в своих соотечественниках национальное самосознание: никакой либерализм никогда не проявляет себя прямым противником национализма. Просто, в принципе, человечество стояло для них впереди каждой отдельной национальности. Станкевич⁹⁰ — глава того кружка, из которого вышло западничество, так выразился (1837 г.) по поводу проблемы национализма или «народности»: — «Чего хлопочут люди о народности. Надобно стремиться к человечеству, свое будет поневоле.

На всяком искреннем и непроизвольном акте духа невольно отпечатывается свое, и чем ближе это свое к общему, тем лучше. Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит, хотеть продлить для него время детства. Давайте ему общее, человеческое и смотрите, что он способен принять... ♦

Иначе говоря, национальные характеры должны оставаться, но при этом не мешать народам объединиться в единое человечество (на началах права). Не правда ли, пред нами та самая идеология, с помощью которой легче всего создавать Лиги Наций в духе либерального Вильсона?

Однако, дальше:

— Наши западники не были, несомненно, консерваторами, но ни в какой мере они не были и революционерами. Они восставали против современной им действительности, но они не отрешались от нее целиком, не порывали с нею. Они действовали в ней, приспособляясь к ней, уживались с нею. При первом же известии (очень скоро оказавшемся ложным) о том, что император Николай I хочет освободить крестьян от крепостной зависимости, Белинский решил, что *нельзя дразнить правительство слишком большими требованиями*. В более позднюю эпоху Герцен, обращаясь к Александру II, писал: — *«Нам стыдно, сколь малым мы готовы довольствоваться»*.

Еще менее революционными были личные характеры «властителей дум» из западнического лагеря. Станкевич жаловался, что он не сильный человек, что действительность не его поприще и что он живет лишь неопределенным стремлением. Белинский никак не мог уверовать в себя и часто впадал в отчаяние. Грановский чувствовал себя «изорванным и измученным внутренне». «Если бы не было на свете истории, моей жены, всех вас и вина, — признавался он в письме к Огареву⁹¹ — я, право, не дал бы копейки за жизнь».

В одной из лучших своих статей Герцен так характеризует в 1859 году создателей нашего западничества: — «Печальны, но изящны были люди, вышедшие тогда

на сцену, с сознанием правоты и бессилия, с сознанием разрыва с народом и обществом, без верной почвы под ногами... Они по духу, по общему образованию принадлежали к Западу, их идеалы были в нем... русская жизнь их оскорбляла на каждом шагу, и между тем, с какой святой непоследовательностью они любили Россию и как безумно надеялись на ее будущее». Да и сам Герцен, наиболее сильный и революционный из всех, лишь с завистью мог думать о твердости характера таких людей, как Робеспьер⁹² («Много надо иметь силы, чтобы плакать и все-таки подписать приговор Камиллю Демулену⁹³»). — «Мой враг — упрекал он себя — не прошедшее и не будущее, а настоящее, в котором я не умею решаться».

Я не думаю, чтобы подобного рода душевное настроение целого поколения людей можно было объяснять простой случайностью. Нет, оно носит на себе яркую печать исторической и социологической закономерности.

Никакой *либерал* не может чувствовать душевного равновесия там, где не только отсутствует всякое право, но где нельзя даже лояльно работать ради его воцарения. Характеры более сильные и умы более свободные, чем те, которыми может обладать человек либеральной складки, покидают в подобных условиях почву либерализма и устремляются навстречу революционным идеалам, в область революционной борьбы. Характеры еще менее сильные и независимые, чем у наших западников первого призыва, были бы вообще неспособны для какого бы то ни было протеста или противодействия власти. Вот почему быть либералом-западником в 40—50-х годах прошлого века мог в России только тот, чья душа была созвучна душе Станкевича, Грановского, Белинского.

Напротив, как только в стране создавалась для права вполне благоприятная почва, так люди либерального политического темперамента получают в ней полную возможность жить и действовать, не будучи ни пессимистами, ни неврастениками и не находясь в постоянном душевном разладе с самими собой и с окружающими. Именно в таком положении оказался русский либерализм начиная с 1905 года, открывавшего для России памятным

манифестом 17-го октября эру относительной конституционности и относительных свобод. С этого момента русский либерализм сделался у нас политическим движением, сильным, здоровым, доминирующим над всеми другими политическими движениями эпохи. — Лучшие представители русской интеллигенции, университетские профессора, адвокаты, доктора, журналисты, студенты широкими массами начали входить во вновь образовавшуюся тогда русскую конституционно-демократическую партию, иначе — «партию Народной Свободы» (партия К. Д.; — «кадеты»)»⁹⁴; или же, и не входя в нее, близко примыкали к ней по воззрениям и настроениям. Для очень и очень многих представителей русской интеллигенции программа этой партии представлялась одинаково удачно отражающею, как основные требования всеобщего прогресса, так и специальные требования русской интеллигентской мысли. Вместе с тем, с полной исторической закономерностью партия Народной Свободы стала почти исключительно лишь партией интеллигентов, горожан, людей среднего состояния, имевшей весьма мало точек соприкосновения с крестьянами и рабочими, или, — по все не изжитому противопоставлению — с «народом». «Народ» этот был мало удовлетворен конституцией и Думой, не понимал их, и его политическая мысль стремилась куда-то в сторону от них. Во всяком случае, ему были нужны совсем другие политические и социальные программы, нежели программа «Союза 17 октября» или «кадетская» программа. А это уже само по себе объясняет успех революционных партий в России вплоть до революции 1917 года и особенно в течение этой революции.

Но здесь мы уже в самом сердце проблемы русского революционного темперамента.

Как всякий вообще революционный темперамент, он должен был быть очень энергичным, очень активным, заключать в себе дар умелого выбора нужных средств и путей, исключать препятствия, заставлять точно определять свои цели. Но он имел не только это: он обладал исключительными способностями организации и осуществления. Он отличался также глубиной своих идей

и — в особенности, быть может — стремлением объединить их в законченную систему, столько же теоретическую и «научную», сколько и практическую. Говоря о русских революционерах, можно не один раз применить к ним эпитет «политического гения».

Скажем по несколько слов лишь о трех главнейших.

Вот Павел Пестель, крупнейший из революционеров первой четверти XIX-го века. Чрезвычайно образованный, исключительно трудолюбивый, Пестель десять лет своей жизни отдает писанию «Русской Правды», в которой излагает все основные принципы политического устройства России после революции, которую предстоит сделать. К своей задаче он подходит в одно и то же время как смелый революционер, и как осторожный вдумчивый политик, и как ученый. Убеденный, что без революции России не сбросить ига абсолютизма, он принимается внимательно изучать историю западных революций. Ход событий во время и после революций французской, португальской, испанской и неаполитанской создает в нем уверенность, что ужасы революций, а также неуспех некоторых из них большею частью проистекают из отсутствия точно определенной и для всех обязательной программы революционных достижений. «Русская Правда» и решила быть как раз такой программой в применении к чаемой русской революции. Разумеется, всякая подобная программа с самого начала оказалась бы обреченной на полный неуспех, если бы она не опиралась на вполне достаточное знакомство с особыми условиями жизни страны. «Русская Правда» с очевидностью обнаруживает, что ее автор изучил русскую жизнь основательно и в деталях и был как у себя дома во всех вопросах ее политического, социального и экономического быта. С другой стороны, ни одна революционная программа не в состоянии осуществиться в жизни, если ее обещания не находят в стране достаточной поддержки, т.е. если в конечном итоге она не удовлетворяет всего народа в его целом. В виду этого обстоятельства, кодекс методов и принципов грядущей русской революции казался Пестелю особенно необходимым. Без него никто не знал бы, как вести себя во время переходного периода по соверше-

нии революции; без него у населения не было бы достаточного доверия к Временному Правительству и оно мешало бы ему в его планомерной созидательной работе. Напротив, имея перед глазами «Русскую Правду», предусматривающую и объясняющую все, что Временному Правительству надлежит делать в течение 15 лет по низвержении старого режима, всякий остался бы спокоен, повинувшись революционерам и сохраняя свои симпатии к ним. Пятнадцатилетнему переходному периоду от старого режима к новому Пестель придавал весьма важное значение. Это должен был быть период абсолютной диктатуры небольшой кучки революционеров, — генерального штаба революции. Пестель совершенно ясно сознавал, что это есть именно диктатура, принудительная и насильственная, но он считал ее совершенно неизбежной и необходимой для перевода страны без излишних потрясений в русла нового политического режима, и для закрепления в ней на вечные времена благодетельных завоеваний революции. В течение этого переходного периода диктаторы должны были беспощадно подавлять всякие попытки неповиновения Временному Правительству или восстания против него. Мало этого, Пестель предполагал не допускать в России частного преподавания и совершенно запретить всякие политические объединения. По его мнению, воспитание и образование суть слишком важное для государства орудие, чтобы оно могло уступать его частным лицам. Что же касается политических союзов, то если они хотят достичь того же, чего хочет и правительство, они бесполезны (правительство сумеет само сделать все нужное для счастья страны); если же они намерены действовать в противовес правительству — они преступны. Отмечаю эту деталь, как весьма характерную для всякой резко выраженной революционной идеологии и психологии. Таких деталей — кстати сказать — не мало в истории послеоктябрьского периода русской революции 1917 года; и кому непонятен смысл таких деталей, тот не в состоянии понять и смысла всей Великой Русской Революции.

Методически подготавливая революцию, Пестель должен был одновременно подготавливать *кадры революционеров*. В современных ему условиях это не было делом легким.

Пришлось воспользоваться существованием в России секретных обществ масонского характера и постараться постепенно привить им политические цели. К тому же, организация этих обществ с их различными степенями посвящения членов в тайны Общества позволяли Пестелю скрывать от своих будущих помощников свои истинные революционные цели и лишь отчасти и с большей осторожностью раскрывать их перед теми, кто заслуживал наибольшего доверия. Таким образом, все силы, полезные для революционной цели, могли и должны были быть планомерно использованы под общим безусловным руководством из центра.

Когда все оказалось бы готово для осуществления успешной революции, оставалось убить царя, и переход к новой государственности совершился бы без малейших затруднений. Были бы избегнуты и ошибки французской революции с ее ужасающими потрясениями, и ошибки революции испанской, «единственная вина» которой заключалась в том, что она оставила в живых испанского короля.

События конца 1825 года, смерть или исчезновение императора Александра I и отказ от престола **Константина**⁹⁵ спутали планы Пестеля и не позволили ждать с революцией до следующего года. Она вспыхнула в декабре, хотя руководители ее и не питали особых надежд на успех. Но, ведь, революционеры по самой натуре своей не склонны действовать наверняка. Не менее, чем стремление достичь желанной цели, ими движет обычно стремление использовать момент, попробовать, дерзнуть, «дать бой».

Поколением позже Пестеля и «декабристов» на русской исторической арене появляется **Михаил Бакунин**.

Этому последнему уже представляется недостаточным добиваться падения русского абсолютизма. Даже централистическая республика с его точки зрения бессильна вернуть народам свободу и обеспечить им мир и справедливость. Спасение лишь в ослаблении всемогущества Государства и в далеко идущем федерализме. Поэтому он пламенно мечтает о крушении «ужасной Всероссийской Империи». На славянском конгрессе в Праге в 1848 г.

он говорит о распаде царской России, как о необходимом условии и для освобождения народов России, задыхающихся под тяжестью русского политического режима, как в страшной тюрьме, и для освобождения славянства, и для освобождения всей Европы. Таким образом, Бакунин одновременно имеет в виду как русскую революцию, так в особенности революцию всеобщую, мировую. Социалист в такой же степени, что и анархист, Бакунин — против всякой вообще власти. Власть церкви для него также ненавистна, как и власть ее «младшего брата» государства. Он считает вредным всякий патриотизм и без колебаний отказывается от своего собственного отечества. Но, сделавшись космополитом, он не перестает любить Россию и верить в ту великую мировую роль, которую ей предстоит сыграть в будущем. — «Я больше не имею отечества — пишет он однажды — с тех пор, как я отказался от своего прежнего... Невозможно создать себе новое отечество... Тем более, что я убежден, что Россия призвана сделать великое дело на священном поприще демократии. Только при этом условии я и люблю ее»...

Но в чем же, однако, должна заключаться для Бакунина историческая роль России? В том, чтобы быть революционной страной, быть очагом мировой революции. Бакунин усматривал в русских крестьянах главную силу, которая должна сокрушить русское самодержавие. Вместе с тем, они же наиболее пригодны для того, чтобы зажечь факел всеобщей революции. В этом вопросе Бакунин стоял на диаметрально противоположной позиции по сравнению с Карлом Марксом⁹⁶. Обладая чрезвычайно углубленным пониманием социальной природы революции, он — в отличие от этого последнего — был убежден, что нации наиболее передовые в культурном и экономическом отношении, наименее способны к совершению настоящей революции. Всякая революция рождается из беспорядка, недовольства, несовершенства существующего режима, из бессилия произвести необходимые улучшения в каком-либо легальном порядке. А если это так, то естественно, что во главе всемирного революционного движения должен стоять великий народ, наиболее отсталый и наиболее страдающий от несовершенств своего политического строя.

Для того, чтобы подготовить и поднять мировую революцию, по мнению **Бакунина**, можно и следует пользоваться весьма разнообразными средствами, даже наименее революционными. Но лично он стоял за действия немедленные и решительные. Всякий беспорядок, всякая разруха, всякая порча государственного механизма, где бы они ни произошли, на пользу революции. И потому сам он ведет революционную работу всюду и всегда, когда только может: в России и за границей; тогда, когда есть надежды на успех и тогда, когда они более чем сомнительны. Биография его заполнена сведениями о том, как он дирижировал революционным восстанием в Дрездене, подготавливал «социальную революцию» в Италии при помощи весьма фантастического подкопа из виллы, находящейся в южной части Италии, сидел в тюрьмах российских и зарубежных.

Приведенных беглых заметок о **Пестеле** и **Бакунине** достаточно, чтобы понять — что происходит сейчас в России и каким образом эта громадная страна может в течение целого ряда лет управляться революционерами типа **В.И. Ленина**.

Ленин столько же характерен для революционной большевистской России, как **Вильгельм II** для дореволюционной консервативной Германии или **Вильсон** для либеральной и демократической Америки; однако, не потому, что он точно отображает облик новой России, как отображали облик своей страны в Германии и Америке **Вильгельм** и **Вильсон**. Он характерен для России тем, что в качестве революционера исключительной творческой энергии он сам почти целиком создал эту большевистскую и революционную Россию.

Ленин не унаследовал никаких традиций и не имел никаких прямых непосредственных предшественников. Но он и не нуждался в них. Он должен был и хотел разрушать и создавать все сам.

В молодые годы исключенный за «преступную политическую пропаганду» из Казанского университета, **Ленин** уезжает в Петербург. Приверженец идей **Карла Маркса**, он старательно ищет единомышленников марксистов. Не находит. И тем не менее через год или два ему удается организовать в Петербурге первые рабочие группы и объединить вокруг себя небольшое количество интернационалистов-марксистов. Вслед за образованием «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», в котором

он принимает участие, Ленин приступает к устройству первых рабочих забастовок, усиленно пишет прокламации, день и ночь проводит в рабочих кварталах.

Арестованный и сосланный в конце девяностых годов, он основывает в Швейцарии вместе со своими двумя товарищами газету «Искра», много способствовавшую развитию революционного движения в России. Когда русская социал-демократическая партия разделилась на большевиков и меньшевиков, Ленин стал во главе первых и сделался теоретиком большевизма. Именно ему обязан своим существованием первый большевистский орган «Вперед». Это он направляет и вдохновляет в 1905 г. социал-демократический съезд, на котором положено начало русской коммунистической партии.

Во время русской революции 1905 года Ленин высказывается за бойкот Думы, за борьбу против «контрреволюционных либералов», за организацию военного восстания с целью установления революционной диктатуры. Он возвращается в Россию и сильно влияет на ход событий. Зиновьев⁹⁷, наиболее преданный из его сотрудников и друзей, предполагает, что идея Советской власти уже тогда зародилась в мозгу Ленина, присутствовавшего в качестве зрителя на заседаниях созванного меньшевиками Совета рабочих депутатов в Петербурге. Наступает реакция, и — Ленин снова за границей. На этот раз для его кипучей неисчерпаемой энергии не находится никакого применения и вот, по словам того же Зиновьева, он «проводит по 15 часов в библиотеке».

Во время Великой войны, Ленин ведет чрезвычайно активную пропаганду против войны. На международных социалистических конгрессах в Циммервальде и Кинтале⁹⁸ он занимает место на крайней левой, предлагает саботаж и вооруженное восстание в качестве средства превращения войны между народами в междуклассовую войну. Едва началась русская революция, он устремляется в Петроград через Германию в знаменитом plombированном вагоне, тем самым обратив на себя всеобщее внимание гораздо больше, чем всей своей предыдущей революционной деятельностью. Первое его выступление в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов с изложением большевистской

программы не имеет никакого успеха. Для него это безразлично. Вместе с небольшой кучкой приверженцев он насильственно занимает дворец балерины Кшесинской⁹⁹ и отчаянно сопротивляется всем попыткам изгнать его оттуда. Балконом своей новой квартиры он пользуется как трибуной для пропаганды, а дворец им превращается в штаб-квартиру партии большевиков, откуда по Петрограду и России распространяется газета «Правда». Главари русского социалистического движения по-прежнему остаются враждебными Ленину. Но в солдатских и рабочих массах его влияние возрастает с каждым днем. Прошло едва три месяца со дня его появления в Петрограде, как в столице вспыхнул подготовленный им большевистский переворот. Временному Правительству удается на этот раз подавить его. Ленин скрывается в Финляндии. Однако, еще через 4 месяца, в начале ноября 1917 года, он уже празднует полную и окончательную победу над Керенским¹⁰⁰ и утверждается в Смольном Институте в роли главы первого большевистского правительства Народных Комиссаров. Понемногу большая часть Российской территории переходит под власть нового правительства. Образуется сеть комиссариатов, советов. Однако, параллельно с этим утверждением Советской власти возникает и быстро расширяется сильное антибольшевистское, антисоветское движение. Там и тут образуются и, благодаря моральной и материальной поддержке иностранцев, постепенно усиливаются белые «армии» и «правительства». Положение в Красной России, дезорганизованной, обнищавшей, блокированной и изолированной становится критическим. Кажется, что падение ее совершенно неизбежно, наступит вот-вот — с минуты на минуту. Особенно критическим становится это положение в июне 1919 г., когда адм. Колчак¹⁰¹ с востока, ген. Деникин¹⁰² с юга, ген. Миллер¹⁰³ с севера и ген. Юденич¹⁰⁴ с запада давят на большевиков и оставляют в их распоряжении лишь центральную Россию. Ленин предусматривает уже день, когда его повесят, но и это мало смущает его. Он пойдет до конца, а после его смерти «весь мир увидит, что он был прав».

Такова энергия Ленина — быть может, квинтэссенция всей русской революционной энергии. — Она восторжество-

вала над всеми препятствиями, осуществила неосуществимое. Во всяком случае это она создала в лице Ленина законченный тип русского революционера.

Но личность **Ленина** не характеризуется одной только его энергией. У него много других качеств, необходимых для крупного революционера. Их признают за ним даже те лица, которым он не внушает ничего, кроме антипатии. Одни отмечают в нем «исключительную силу логики». Другие высоко расценивают его как «большого знатока толпы и несравненного демагога». Третьи отдают ему справедливость как сильному, талантливому организатору. Выдающийся русский экономист, публицист и политик **Петр Струве**¹⁰⁵ видит в Ленине человека, для которого не существует моральных критериев, и в духовном облике которого злобность, злость представляются самыми отличительными из всех черт. Он называет Ленина палачом, для которого все средства хороши при достижении поставленных целей. И вместе с тем **Ленин** для **Струве** это «такой искусный политик и такой замечательный тактик». — «Само собою разумеется, — продолжает **Струве** — он является теоретиком и идеалистом чистейшей воды; и больше: в своей частной жизни... он аскет». Подобное свидетельство тем более интересно и важно, что прежде чем сделаться горячим противником Ленина и активно бороться против него вместе с ген. **Врангелем**¹⁰⁶, **П. Б. Струве** близко знал Ленина в течение долгих лет. Они были членами одной и той же социалистической партии, и их имена ставились и цитировались рядом в течение более чем пяти лет.

Все признают простоту привычек и вкусов Ленина и его безразличие ко всякого рода удобствам. Все согласны, что он «ужасный доктринер», «схематист», что он до чрезвычайности склонен к абстракции. Что касается лично меня, то мне представляется главным в личности Ленина гармония между его характером и умом как умом и характером типичного революционера. Нельзя сказать, темперамент ли Ленина влияет на ход его мыслей или, наоборот, его мысли определяют его темперамент, его поведение. Мысли и действия, идеалы и склонности представляют в нем одно целое и целиком служат делу революции.

Так не является ли Ленин в силу всех перечисленных качеств человеком, который — будучи обязан главным образом *самому себе, своим дарованиям, своей работе, смелости своего характера и мыслей, наконец, своей воле* — работает над созданием новой жизни **чисто политическим путем?**

II

Для того, чтобы лучше понять, насколько Ленин оригинален в качестве индивидуальности, насколько он русский в качестве революционера и насколько он принадлежит человечеству в качестве политика, следует посмотреть, чем отличается его программа от программ других вождей русских революционных течений.

Мы уже говорили однажды, что из всех кругов русской интеллигенции наиболее полным образом сохранили типические интеллигентские черты именно круги революционные. Однако, так же как и для консерваторов и либералов, и для них превращение русского абсолютистского режима в режим конституционный или полуконституционный знаменовало собою весьма важный этап.

Как все вообще течения русской политической мысли трансформировались к этому моменту в политические партии, так и революционные течения приняли форму политических партий. Что особенно характерно, как раз революционеры явились первыми основателями в России организованных политических партий (еще до 1905 г.).

Далее, так как всякая политическая партия стремится отразить интересы тех или иных социальных слоев, то и русские революционеры оказались вынужденными взять на себя защиту одних из этих слоев за счет других. Русские консерваторы отдали себя в распоряжение русского дворянства и русской буржуазии; русские либералы взялись обслуживать интересы людей среднего сословия, горожан, интеллигенции. Логическим образом представителями революционной русской мысли были те, кто сосредоточивал все свое внимание на нуждающихся классах, на крестьянах и рабочих.

Нельзя при этом не отметить, что сколько бы наши революционеры ни были революционны по своим настроениям и по своему темпераменту, в массе своей они все же оставались духовными наследниками русских политических мыслителей первой половины XIX века и волевыми в новых формах продолжали старинную борьбу «славянофилов» и «западников». Те из них, кто верил в особые пути социально-политического прогресса в России, заполнили со временем кадры социалистов-революционеров, приобретших большое значение в качестве *партии крестьян*. Другие, считавшие Россию в ее развитии подчиненной совершенно тем же законам и условиям, что и Запад, шли в ряды социал-демократической партии, *партии русских рабочих масс*.

Это не все: так же, как русские консерваторы и либералы, становившиеся, начиная с 1905 г., все более практичными, реалистичными и *terre-à-terre*, русские революционеры со своей стороны все более проникались постепенно будничным политическим реализмом и деловым практицизмом. Таким образом, хотя и более пригодные, чем их политические противники для разрешения основных проблем русской политической мысли, наши революционеры оставались, однако, неспособными разрешить их удовлетворительным образом и окончательно. К этому можно прибавить: чем менее были они революционны, тем более они проявляли эту неспособность, и обратно.

Всем этим я хочу сказать, что накануне Великой Революции русские политики, даже наиболее передовые и смелые, не знали ни как связать Россию с остальным человечеством, ни какова ее особая историческая миссия в качестве великого народа и великой этической силы. Программа социал-демократии, растворяющая Россию в Западе и стоящая на почве нивелировки всех народов, отдаляла от себя тех, кто мечтал для России об исторической роли великой, возвышенной, единственной в своем роде. Напротив, программа социалистов-революционеров касалась почти исключительно только внутренних русских дел и относилась довольно безразлично к какой бы то ни было мировой программе. В конечном итоге про подавляющее большинство русских революционеров можно было сказать,

что поистине революционными — активно революционными — они были лишь в отношении одной России. *Идея мировой революции не была продумана ими во всех ее последствиях и выводах и во всей ее глубине.* Во всяком случае она не имела для них значения живой актуальной проблемы. И даже больше: они не только не имели никакой программы мировой политики в нашем смысле этого слова, но даже их программа внутренней политики России была элементарна, не разработана и в лучшем случае ограничивалась провозглашением принципа «свободного самоопределения народов», скорее либерального, чем революционного.

В настоящий момент после всего пережитого Россией в течение 4-х с лишним лет революции приходится сказать еще и то, что главные массы русских революционеров даже во время революции не отдавали себе ясного отчета в значении *жертвы и служения* в этической психологии русского народа и не учитывали их значения в качестве могучего революционного двигателя. Они раз навсегда приучили себя к мысли, что революционные жертвы *только их* обязанность, т.е. обязанность людей *борющихся за народ*. — Что же касается самого народа, то ему говорилось лишь о материальных нуждах и личных или классовых эгоистических интересах.

В целях революционной пропаганды все это могло быть очень хорошо до революции. Но это стало абсурдом с того момента, как революция вспыхнула, и как русские, крестьянские и рабочие массы сами превратились в революционеров и пожелали выдвинуть своих революционных вождей. Говоря иными словами, русские революционеры всегда упускали из виду, что дух жертвенности не есть их личная привилегия в качестве вождей народа, но что он неотъемлемая принадлежность всякой вообще революционной психологии. Уже одного этого последнего замечания достаточно с моей точки зрения для того, чтобы утверждать: несмотря на всю свою революционность, главные кадры русских социалистов были далеки от понимания того, что такое революция и каковы ее законы.

С другой стороны, имея гораздо больше точек соприкосновения с широкими народными массами, чем остальные русские интеллигентские круги, наши интеллигенты-

революционеры все же очень мало знали русский народ. Им не был знаком его образ мышления, или во всяком случае они не считались с ним в создававшихся ими планах революции. Особенно же плохо понимали они то, что революция имеет свои собственные законы, свои особые условия успеха и неуспеха, свои национальные формы. Наконец, они совершенно не понимали, что русский народ во время революции не мог довольствоваться ни старыми программами, выработанными на покое несколькими интеллигентами-революционерами, ни их педагогическими брошюрами, ни добродетельным наставничеством и водительством лишь ими самими признанных вождей. Русские крестьяне и рабочие прежде всего должны были разрядить свой вековой гнев угнетенного и поработанного народа, заставить стократно заплатить за старые несправедливости, многое разрушить и искоренить, и со своей стороны наделать несправедливостей. Одновременно им нужно было почувствовать себя загипнотизированными идеалами, позволявшими в своем действительном или призрачном величии заранее оправдать все разрушения, все несправедливости, все жертвы. Вместе с тем, охваченный революцией, русский народ естественным образом должен был представить собой, с чисто психологической точки зрения, громадную толпу, охваченную специфической психологией толпы. Народ хотел *сам* действовать и *сам* направлять ход событий. Он хотел, чтобы с ним считались, чтобы ему потакали, чтобы ему говорили его слова. Как всякая толпа в социально-психологическом смысле слова, он готов идти куда угодно за своими вождями, но как всякая толпа он хотел думать, что вожди управляют лишь по его собственной воле и ведут в направлении лишь им самим указанном.

То, что все почти русские революционеры не понимали или упускали из виду, Ленин понимал, оценивал и временно учел, чтобы применить в нужный момент.

Точно так же как Пестель он является большим знатоком истории, логики и психологии революций. Как Пестель, он знает цену особой революционной тактики, знает необходимость личной диктатуры наряду с программой, способной увлекать и толкать на жертвы. Однако, Пестелю и ему пришлось жить и действовать в совершенно

различной обстановке. Проблема русской революции возникла перед Пестелем в виде проблемы революции *без участия масс*. Ленину, напротив, всегда приходилось думать о русской революции, совершаемой с помощью масс и, быть может, исключительно при помощи масс.

С этой точки зрения Ленин выступает как прямой единомышленник Бакунина, не представлявшего себе революции иначе как в виде массового движения. Точно так же как Бакунин, Ленин не ограничивался подготовкой какой-либо отдельной национальной революции, но всегда даже имел в виду мировое революционное дело. Наконец, вместе с Бакуниным Ленин всегда понимал, что массы наиболее поработанные и наименее цивилизованные представляют собою источник революционной энергии гораздо более богатый и мощный, чем массы народов передовых и свободных. По этой именно причине он всегда приписывал первостепенное всемирное значение с нетерпением ожидавшейся им русской революции. Тем не менее, Ленина ни в каком смысле нельзя назвать вторым Бакуниным. По сравнению с ним, он человек гораздо более новой эпохи. Он хочет идти гораздо дальше и делать шаги гораздо более твердые. Бакунин верил, что революцию можно делать безразлично где и безразлично когда; Ленин верит в «объективные» условия революции, в том числе, конечно, в «объективные условия» мировой революции. Для Бакунина мировая революция представлялась произвольной суммой различных национальных революций, происходящих без какого-либо единого плана и направляемых без участия единой центральной силы. Поэтому-то он был против диктатуры. Напротив, для Ленина мировая революция представляется органическим мировым процессом, который должен или может иметь место лишь в благоприятной мировой обстановке, лишь при воздействии специальных мировых сил и при условии, что в ней, как актер в театральной пьесе, всякий народ играет свою роль.

Таким образом, программа русской революции являлась для Ленина лишь определенной частью мировой революционной программы. Все его внимание было сосредоточено на этой последней. Она должна быть выработана самым внимательным образом и покоиться на самых точных

практических принципах. Идеал ее должен быть чрезвычайно широким и возвышенным и в то же время реалистичным и «научным». Прежде чем достигнуть реализации мировой программы, русская программа должна привлечь к себе симпатии во всех странах. Во время процесса самоосуществления она должна обеспечить себе условия, достаточные для того, чтобы привести в конечном итоге к установлению полного *единства* воли всех стран и всех народов.

Свою теоретическую программу Ленин нашел в учении Карла Маркса. Марксизм представляет собою в одно и то же время искусно выраженную научную дисциплину и универсально призванную основу для великого международного рабочего движения. Этими своими чертами он должен был вполне удовлетворять Ленина с двух главнейших точек зрения: во-первых, с точки зрения идеала и программы мировой революции и, во-вторых, с точки зрения могучего средства для организации революционных сил.

Таким образом два великих антагониста, Маркс и Бакунин, нашли свое взаимопримирение в лице Ленина. Оба оказались восполненными и исправленными. Излишняя теоретичность одного и избыток темперамента другого получили равновесие в действии и в мысли Ленина. При желании можно было бы определить Ленина, как революционера и социального реформатора при помощи следующего рода псевдоматематической формулы: Маркс помноженный на Бакунина, равняется Ленину. Или еще более точно: — Ленин равняется Марксу, помноженному на Бакунина, плюс Пестель.

С подобного рода формулой, думается мне, легко согласится всякий, кто — как мы здесь — взглянет на руководящие идеи Ленина *под чисто политическим углом зрения*. В таком случае перед нами развернулся бы приблизительно следующего рода ход мыслей:

— Пока существует капитализм, широкие народные массы останутся поработченными, и экономическое их положение будет неизменно ужасным. Чтобы освободить их, необходимо до основания изменить всю современную систему экономических отношений. Однако радикально изменить ее, не изменив параллельно систему отношений полити-

ческих, нельзя. Необходимо, чтобы управление экономическими и политическими сторонами жизни перешло в руки трудящихся классов. Такой переход может произойти лишь в революционном порядке. Значит, нужно революционизировать массы и делать революции всюду, где они могут представиться полезными. Однако, отдельные революции не имеют большой цены, если они не ведут прямым образом к революции всемирной. Только эта последняя может бесповоротно низвергнуть капитализм и открыть эру коммунистического социализма. В таком случае — все для мировой революции! Каждая страна должна делать все возможное, чтобы обеспечивать ее успехи. Но ведь есть страны и страны. Одни далеко подвинулись вперед на пути экономического и политического прогресса и вполне подготовлены для социализма. К сожалению, психологически именно эти страны наименее революционны. Другие вполне пригодны для революции, но их культура и государственность сильно отстали и они еще не созрели для социализма. Вплоть до 1917 года Россия являлась главнейшей из стран этого второго типа. Ее правительство неизменно выполняло роль охранителя всемирной реакции. Коммунистической революции следовало поэтому во что бы то ни стало низвергнуть русское правительство и тем самым открыть перед Россией пути нормального социально-политического развития. Что касается других стран, то они в свою очередь неизбежно испытали бы на себе влияние русской революции. Победа царской России в исходе великой войны 1914 года легко могла бы отодвинуть русскую революцию и революцию мировую на бесконечно долгий срок. Стало быть, самое лучшее, если Россия понесет тяжелое военное поражение, вслед за которым революция должна вспыхнуть с тою же исторической необходимостью, с какой она вспыхнула в результате русско-японской войны.

Так и случилось. Николай II потерял свой престол в тот момент, когда великая война была еще в полном разгаре. Теперь за дело! На очереди дня «углубление» русской революции и ее превращение из чисто политического события в корневой социальный процесс. А дальше — революции во всех побежденных странах. С того момента,

как несколько крупнейших из промышленных стран сделаются добычей социальной революции, мировой революционный фронт широко раздвинется, и Россия, обнищавшая и лишенная всего самого необходимого, окажется в состоянии продолжать не только свое собственное революционное дело, но и дело мировой революции. Самое трудное будет — это справиться со странами-победительницами. Они менее всего будут хотеть революции. Быть может, они вовсе не захотят ее иметь. Они сделают все, чтобы потушить пламя революции в их собственной стране и чтобы сделать его безвредным во всех других странах. Вот истинная опасность для революции. Однако, мужество, мужество! Во-первых, если рабочие массы этих стран увидят, что Россия борется за общий идеал трудящихся всего мира, они запретят своим правительствам нападать на новую Россию. Далее, эти страны-победительницы выйдут из войны настолько ослабленными и дезорганизованными, что революционный дух станет все же проявлять себя и в них. Следовательно, самое главное для социалистической и революционной России — это продержаться во что бы то ни стало до того момента, когда буржуазные правительства потеряют свою способность вредить русским Советам и гасить пламя мировой революции. Если для этого нужно заключить постыдный мир с военным врагом — пусть так, пусть он будет заключен. Если вместо немедленной демобилизации русской армии (согласно первоначальным обещаниям ноября 1917 года), придется весь русский народ поставить под ружье и превратить в солдат — пусть все русские войдут в Красную Армию и бьются за коммунистическую революцию. Если русский народ тяжело страдает от лишений всякого рода, ничего не поделаешь, пусть страдает. Если окажется необходимым открыть временно широкий простор для иностранной эксплуатации природных русских богатств* — пусть идут к нам иностранные концессионеры.

* «Мы не можем бороться так, как мы этого хотим, — заявил Ленин на конгрессе III Интернационала в августе 1920 г. — Мы должны считаться со сложившимися условиями. Мы должны убеждать рабочих фактами, мы не можем создавать теории. Но и убеждать недостаточно. Политика, — прибавляет Ленин, — боящаяся насилия, не является ни устойчивой, ни жизненной, ни попятной».

Напротив, раз только день мировой революции пришел, все эксплуататоры понесут наказание, все привилегии будут отменены, все преграды между народами падут. Весь мир объединится в одной цели: — организовать свою совместную жизнь на совершенно новых социальных, политических и экономических основаниях. Тогда неисчислимыя русские страдания искупятся сторицей и вместе с тем за Россией навсегда сохранится историческое значение *первой освободительницы мира*.

Итак, истинный социалистический интернационализм и мировая революция составляют высший идеал Ленина. Насколько различен этот интернационализм не только от империализма с его пушками, но и от мирового федерализма с его трактатами и конференциями! — Сам Ленин с большой яркостью формулировал однажды это последнее различие. Мелкобуржуазный национализм — говорил он на только что упомянутом конгрессе — считает интернационализм простым признанием равенства прав народов и, не говоря уже о чисто словесном характере этого признания, он полностью поддерживает национальный эгоизм. Между тем, пролетарский интернационализм требует:

а) чтобы интересы пролетарской борьбы в одной стране подчинялись интересам этой борьбы в мировом объеме;

б) чтобы нация, одержавшая победу над своей буржуазией, показала себя способною к величайшим национальным жертвам ради низвержения международного капитализма.

Таков Ленин, русский революционер и вождь мировой революции. Не является ли он одинаково типичным и законченным в обоих отношениях? Как бы то ни казалось странным, приходится утверждать, что именно в лице Ленина русская политическая мысль, наиболее типичная и национальная в своей революционности, впервые находит свой синтез и впервые разрешает без противоречий и пропусков все свои основные проблемы.

Припомним:

— В качестве одной из главнейших тенденций русской политической мысли, мы указали выше на неизменную

ее борьбу против *настоящего России*. Нужно ли говорить, что никто с такой энергией не обрушивался на это настоящее, никто не разрушал его с такой последовательностью, как Ленин?

Русская политическая мысль всегда стремилась служить политическому и социальному прогрессу в его наиболее радикальных формах. Программа Ленина, ищущая тесного объединения всего человечества, искоренения всех пороков современной экономической системы, создания совершенно нового политико-социального порядка несомненно является программой, как нельзя более смелой и радикальной.

Служить политико-социальному прогрессу всегда значило для русского жертвовать всем ради его торжества — без сожаления и без ограничения. Непомерные жертвы, возложенные Лениным на Россию в момент появления его у власти в ноябре 1917 года и в течение всего периода борьбы против антисоветской России и ее иностранных помощников, всем достаточно известны. При этом, разумеется, Ленин не только обязывал к жертвам других, он каждую минуту готов был нести и нес их сам. Считаю нужным подчеркнуть, что именно эта воля возлагать на русский народ обязанность жертв и обращение к жертвенным порывам русской народной души является для меня одной из главнейших причин успеха всего дела Ленина.

Русская политическая мысль, всегда бывшая до того мыслью русских интеллигентов и господствующих в России классов, никогда раньше не находила путей к примирению и воссоединению с мыслью русских масс, не говоря уже об идеале полного уничтожения векового различия между «народом» и «правящими». Излишне настаивать, что лишь программа и тактика великой русской Революции, которую мы все время отождествляли здесь — (условно) — с Лениным, одна оказалась в состоянии осуществить этот идеал, превращая в комиссаров, делегатов, членов бесчисленных Советов и в офицеров Красной Армии элементы, почерпнутые из самой гущи народных русских масс. Только потому, что русский народ почувствовал себя народом-революционером и армией всемирного прогресса, он и согласился нести бесчисленные жертвы всех последних лет. Только потому, что он видит в вождях большевизма *своих*

собственных избранников и выразителей своих собственных идей, он и согласился выносить тяжкую и неумолимую диктатуру этих вождей.

Это не все. Русская политическая мысль, говорили мы, всегда стремилась увидеть Россию в тесном сотрудничестве с остальным человечеством; в качестве особой, но неотъемлемой составной его части. Как всякий консерватизм, говорили мы, и русский консерватизм был слишком националистичен. Его интересовала только Россия и его международная программа упиралась в шовинизм. На этом пути русская политическая мысль никогда не нашла бы удовлетворительного разрешения вопроса о взаимоотношении между Россией и остальными народами. Русский либерализм, как и любой другой либерализм, мечтал о большом столе, покрытом зеленым сукном, за которым сидели бы представители всех стран в непрерывном мирном конгрессе. Это очень хорошо в принципе, но что можно сделать на подобном конгрессе, если по-прежнему живы и остры все поводы для соперничества и вражды народов? К тому же недавний опыт с трагической очевидностью показал, что современный мировой либерализм не только обречен на полное бессилие и двоедушие, но что он каждую минуту готов стать источником новых конфликтов, новых войн, новых мировых опасностей.

Нет; для того, чтобы пред Россией открылись возможности тесного и действенного сотрудничества с остальным человечеством, необходимо, чтобы она провозгласила *принцип единства всего человечества* и затем отдала себя на служение этому принципу. Только так русская политическая мысль могла разрешить проблему взаимоотношений между Россией и остальными народами, не изменяя самой себе. Только на этом пути она оставалась бы подлинно революционной мыслью также и в области международных проблем. Наконец, только при таком решении вопроса русская революция, имеющая столько международных корней, не оказалась бы в противоречии со своей собственной международной природой и сущностью.

Однако, кто же из всех русских революционеров понял национальное значение для России идеи международного единства, если не Ленин с его сотрудниками и привержен-

цами? И пока революция будет длиться в России, напрасно делать попытки увлечь господствующие русские массы уравнительным международным идеалом либералов и умеренных социалистов или шовинистическим и империалистическим идеалом ретроградных консерваторов и экс-социалистов.

А теперь самое главное:

— Единство человечества не может создаться само собою. Его нужно достигнуть, завоевать. Для него нужна мировая революция, нужны специальные силы и великие жертвы. Следовательно, должен быть налицо народ, готовый пожертвовать собою за мировое дело и имеющий достаточно революционного духа и революционных сил, чтобы в нужный момент поднять знамя мировой революции. Не является ли именно русский народ таким народом, самой историей предназначенным для дела мировой революции? Не в этом ли его историческая миссия, особая роль среди народов? Почему не допустить, что именно России и только одной России выпадет на долю излечить мир от всех социальных зол капиталистического строя? Такова в своей политической основе мысль Ленина и всего русского революционного экстремизма. Ясно, что лишь благодаря этой мысли последовательно, не противоречиво и совсем по-русски, или вернее по-российски, разрешен последний из основных вопросов, стоящих перед русской политической мыслью: понять особую историческую миссию России в качестве великого народа и великой силы этической и исторической. Не вполне неправы поэтому те, кто старается вскрыть элементы славянофильства в политических и социальных взглядах Ленина, этого законченнейшего из революционеров-интернационалистов.

Итак, нельзя удовлетворительным образом объяснить себе успехов большевизма в России, если не отдавать себе ясного отчета во всем том, что нами только что говорилось: большевизм, утвердившийся в России в процессе революции, наилучшим образом соответствовал психологии и логике русской революции и наиболее полно удовлетворял основным заданиям и навыкам русской революционной политической мысли. Однако, сколько бы экстремизм русского большевизма и Ленина ни был коренным русским,

его успехи не зависят исключительно от событий в России. Он заключает в себе слишком много элементов и предпосылок международного порядка, чтобы оставаться вне зависимости от хода международных дел. И действительно, если большевизму удалось преодолеть столько препятствий и победить столько врагов, то это главным образом потому, что он всегда умел учесть и использовать благоприятные мировые факторы. В этом была его основная сила. В этом проявлялись его здравый реализм и практический смысл, неизменно отсутствовавшие у его противников. Можно смело утверждать, что большевистская власть, будучи глубоко русской, завладела в ноябре 1920 года всей Россией в силу следующих четырех причин международного порядка:

1. Она опирается на международную социальную теорию в одно и то же время научную, философскую и, если угодно, религиозную даже.

2. Она имеет экономическую, политическую и социальную программу мирового масштаба.

3. Она умеет пользоваться ослаблением и распадом всех современных международных связей — иначе говоря, реальными условиями современной мировой политической жизни.

4. Наконец, в лице коммунистического пролетариата всех стран она имеет на своей стороне крупные и действенные международные силы, верные ее стремлениям и понимающие ее методы.

Поэтому вполне позволительно поддерживать два следующих друг друга взаимно обуславливающих положения: русская большевистская революция восторжествовала потому, что налицо оказалось достаточное количество условий, благоприятных для революции мировой. И обратно, мировая революция может сделаться неизбежной (она уже стала, быть может, неизбежной), так как большевистская революция в России бесконечно усилила революционные течения в других странах, дав им единый план и наметив для них пути и цели.

Разумеется, социальная революция мирового масштаба представилась бы чем-то совсем иным, чем социальная

революция в большевистской России. Тем не менее, ей пришлось бы заняться осуществлением программы, сходной с программой русского большевизма. Этим я хочу сказать, что ей пришлось бы разрешить международную программу в революционном порядке и согласно планам мирового социализма, опираясь на принцип *единства всего человечества*. Что же касается столкновений, сражений и разрушений всякого рода, идеала полного устранения буржуазных классов и создания во всех углах и закоулках мира Советских Республик, то все это не имело бы другой основной цели, кроме цели установления только что указанного единства.

В настоящий момент шансы мировой революции и успехов мировой революционной программы сделались тем более значительными, что две другие возможные мировые программы, консервативная и либеральная, только что в итоге войны и мира понесли тяжелое поражение.

Нужно ли указывать, насколько велики психологические последствия этого двойного поражения. — И если бы это было лишь чисто психологические последствия. То, что происходит в душе людей, обычно является лишь отзвуком творящегося вне ее. В то время, когда решительно все зависит от организации международных отношений, антиреволюционные элементы человечества не имеют уже больше в своем распоряжении ни действительно международных средств действий и борьбы, ни удовлетворительного международного идеала или плана. Тягостное ощущение, что «что-то сгнило» не только в датском королевстве, но и во всех решительно странах, вполне соответствует целой серии совершенно объективных явлений:

а) страшной усталости народов после мировой войны при перспективе новых войн;

б) разрушенному механизму экономической жизни народов, финансовым и промышленным кризисам и все растущей безработице;

в) соперничеству между государствами, достигшему небывалой степени, в виду исключительных трудностей для каждого из них защищать сейчас свои национальные интересы;

г) устойчивость привычкам, созданным после 1914 года, жить в исключительно ненормальных условиях, подвергать себя лишениям, бороться и *жертвовать*;

д) полному распаду на международной арене всех устойчивых антиреволюционных сил, равно как почти полному отсутствию или бессилию всех моральных или правовых международных факторов. Прибавим к этому, что антиреволюционные международные элементы не имеют решительно никакого опыта в области истинно международной интернациональной тактики, а их теории международной организации носят чисто бумажный характер. Как мы уже видели раньше, мир боролся против германского империализма, вовсе не представляя себе, что такое собственно империализм. Точно также он стремился к международному федерализму, немало не заботясь об уяснении себе (и об удовлетворении) основных условий всякого федерализма.

Наряду с этим, в небывало широком «мировом» масштабе, обнаруживают себя теперь все новые и новые условия для развития отчетливо выраженной революционной психологии и для создания мировой революционной атмосферы. Мир, как единое социальное целое, никогда еще не управлялся *мировой моралью*, несуществующей и по сей день, ни *мировым правом*, так как слабая его тень в лице «современного международного права» и поныне имеет еще очень ограниченное практическое значение. Поскольку то не было *полной* анархией и полным беспорядком, мир управлялся преимущественно *политическими факторами, политикой* — по самому существу своему такими благоприятными, как мы знаем, всякого рода революциям. Теперь же это больше чем когда-либо. Раз всякая революция естественным образом рождается из недовольства, нужды, беспорядка, голода и наличия неосуществленных идеалов, и раз все это именно теперь проявляется с особенной силой, то именно теперь и приходится сосредоточивать все свои мысли на мировой политике и на мировой революции. Всякая великая революция требует для своей победы точной революционной программы, достаточных революционных кадров и вождей с прочным революционным авторитетом. Мировая революция найдет все это в среде мирового пролетариата,

поддержанного русским народом, в лице коммунистического социализма, и, наконец, в лице Ленина с его ближайшими помощниками. И чем больше соперничества, борьбы, беспорядка и нужды, безразлично где и какого сорта, тем больше огня в горнило революционного пролетариата, коммунизма и Ленина.

Чтобы избежать мировой революции или потушить ее раз навсегда, лично я вижу лишь два пути: первый заключался бы в том, чтобы достаточным образом укрепить мировой либерализм или мировой консерватизм, дабы какая-либо из этих двух мировых антиреволюционных программ могла решительно восторжествовать над современными революционными течениями в мире. Разумеется, это не просто. Творцам таких программ пришлось бы сделать нечеловеческие усилия в связи с тем, что нами говорилось в первой главе: человеческий разум — говорили мы тогда — столь ничтожный в качестве исторической и социальной силы, может вдруг превратиться в современном хаосе в главную движущую силу, разуму выпало бы на долю собрать все элементы и наметить все необходимые средства для осуществления в мировом масштабе либеральной или консервативной политико-социальной программы. И это в таких исключительно неблагоприятных условиях.

Если же этот путь, как легко можно себе представить, не приведет ни к чему, то остается другой путь: покорно склониться перед неизбежным развитием событий и пусть Бог хранит каждого от борьбы, вражды, и особенно от побед над другими. Все это — еще и еще раз — лишь на пользу сначала хаосу, а потом революции. При такой покорности судьбе Великая Социальная Революция совершилась бы, не будучи революцией в нашем русском переживании этого слова и не сопровождаясь потрясениями в русском стиле. Иначе говоря, чтобы избежать мировой революции, необходимо добровольно уступить ей во всех ее основных требованиях, а потом смотреть и ждать, что из этого выйдет.

История не замедлит показать, какой путь выбран ею. Моей задачей здесь не является указывать, в какой мере

я возлагаю свои личные надежды на единственный открытый перед человечеством третий, революционный путь.

Но я думаю, что я прав, утверждая: при настоящих условиях для каждого должно быть не только интересно, но и важно вдуматься серьезно и глубоко в три основные мировые политические программы: в консервативную программу последнего германского императора, в либеральную программу предпоследнего американского президента и в революционную программу русского диктатора-революционера.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 - Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870—1924), российский политический деятель. С 1917 г. председатель СНК, с 1918 г. председатель СТО. Один из вдохновителей и лидеров Октябрьского переворота 1917 г. В 1900—1905 гг. и 1907—1917 гг. находился в эмиграции. Поддерживал движение сменовеховцев (предотвратил закрытие журнала «Россия» (Москва-Петроград), привлекал нововеховцев к активной работе в пользу большевиков, в т.ч. предложил Ю.В. Ключникову быть экспертом сов. делегации на Генуэзской Конференции 1922 г.).

2 - Salles des Sociétés Savantes — Помещения Научных Объединений (фр.).

3 - Université Internationale — Международный Университет (фр.).

4 - Генуэзская Конференция 1922 г. (10 апр.—19 мая) — международная конференция по экономическим и финансовым вопросам с участием 28 европейских государств и России, а также 5 британских доминионов. Российская делегация (с Ю.В. Ключниковым в качестве эксперта) выразила готовность обсудить вопрос о форме компенсации бывшим иностранным собственникам в России при условии признания Советов де-юре и предоставления режиму кредитов. Российская делегация внесла предложение о всеобщем разоружении. Вопросы, стоящие на Генуэзской конференции, разрешены не были, часть из них была перенесена на Гаагскую конференцию 1922 г. В ходе Генуэзской конференции российской дипломатии удалось заключить Рапалльский договор 1922 г. с Германией.

5 - «Интернационализм» — международная солидарность людей различных наций и рас, основа их взаимопонимания, взаимного доверия, взаимопроникновения культур, ценностей, знаний и технологий; противоположен национализму.

6 - Мирные Гаагские Конференции 1899 г. (1-я) и 1907 г. (2-я), 1922 г. — международные конференции, на которых были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны. Конвенции содержали положения о мирном разрешении международных споров, нейтралитете, о защите мирных жителей, режиме военнопленных, участии раненых, больных и т.д.

7 - Лига Наций — международная организация (учреждена в 1919 г.), имевшая целью развитие сотрудничества между народами и гарантию мира и безопасности. Местопребывание — Женева. В 1934 г. СССР принял предложение 30 государств — членов Лиги наций о вступлении в эту организацию. В декабре 1939 г., после начала советско-финляндской войны 1939—1940 гг., Совет Лиги исключил из Лиги наций СССР (из Лиги наций вышли Бразилия (1928), Япония, Германия (1935), в 1937 г. исключена Италия). Формально распущена в 1946 г.

8 - Апория <греч. ἀρογία, непроходимость, трудность перехода; затруднение.

9 - Первая Мировая Война 1914—1918 гг. — война между двумя коалициями держав: Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и Антантой (Россия, Франция, Великобритания, Сербия, позднее — Япония, Италия, Румыния, США и др.; всего 34 государства).

10 - «Союзные и Дружественные Державы» — Антанта (фр. Entente, букв. — согласие) («Тройственное согласие»), союз Великобритании, Франции и России; оформился в 1904—1907 гг. и объединил в ходе 1-й мировой войны против германской коалиции более 20 государств (среди них США, Япония, Италия).

11 - Вильсон (Уилсон) Томас Вудро (1856—1924) — 28-й президент США (1913—1921), от Демократической партии. Провел ряд либеральных законов. Еще до вступления США в 1-ю мировую войну (апрель 1917) выдвинул идею

создания послевоенного союза государств, наиболее полно получившую отражение в т.н. «Четырнадцати пунктах» (январь 1918); выступал за учреждение Лиги Наций. Нобелевская премия мира (1920).

12 - Вильгельм II Гогенцоллерн (1859--1941) — германский император и прусский король в 1888—1918 гг., внук Вильгельма I. Свергнут Ноябрьской революцией 1918 г.

13 - *Rag excellence* — по преимуществу (фр.).

14 - Тевтонский орден (Немецкий орден) -- немецкий духовно-рыцарский орден, основанный в XIII в. военно-теократическое государство в Восточной Прибалтике. В 1190 г. (при осаде Акры во время третьего крестового похода) купцы из Любека основали госпиталь для немецких крестоносцев, который в 1198 г. был преобразован в рыцарский орден. Главной задачей ордена должна была стать борьба с язычеством и распространение христианства. Немецкие земли Тевтонского ордена были секуляризованы в начале XIX в., а сам орден распущен декретом Наполеона в 1809 г. Восстановлен австрийским императором Францем I в 1834 г. В настоящее время члены Тевтонского ордена занимаются главным образом благотворительной деятельностью и исследованиями в области истории ордена. Резиденция великого магистра находится недалеко от Вены.

15 - Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов в 1415—1701 гг., прусских королей в 1701—1918 гг., германских императоров в 1871—1918 гг. Основные представители: Фридрих Вильгельм, Фридрих II, Вильгельм I, Вильгельм II.

16 - Фридрих Вильгельм (1620—1688) — Бранденбургский курфюрст с 1640 г., т.н. Великий курфюрст, из династии Гогенцоллернов. При нем с Бранденбургом окончательно соединены герцогство Пруссия (до этого — лен Польши) и ряд др. земель. Заложил основы прусского абсолютизма.

17 - Фридрих III (1657—1713) — Бранденбургский курфюрст (как прусский король -- Фридрих I), сын Великого курфюрста, курфюрст с 1688 г. Значительно увеличил свои владения завоеваниями, куплей и наследованием, вел войны против Англии, Франции, помогал императору в войне за испанское наследство. В 1701 г. возложил на себя в Кенигсберге королевскую корону. Был расточителен, любил великолепие, основал университет в Галле, академии наук и художеств в Берлине.

18 - Фридрих Вильгельм I (1688—1740) -- сын Фридриха I, с 1713 г. прусский король. Расширил владения войнами со Швецией, участвовал в войне за польское наследство; увеличил и организовал прусскую армию, содействовал развитию земледелия, устроил строгое и экономное финансовое управление, смягчил крепостное состояние. Человек грубый и суровый, но умный, враг французских обычаев.

19 - Фридрих II Великий (1712—1786) — сын Фридриха Вильгельма I, в молодости пытался бежать от сурового отца, за что был заключен в крепость Кюстрин в 1730 г., король Пруссии с 1740 г. В 1740—1741 гг. отторгнул Силезию от Австрии, удержал ее после второй силезской войны 1744--1745 гг., завоевал вост. Фрисландию в 1744 г., вышел благополучно из 7-летней войны (1756--1763) и утвердил свои земельные завоевания; затем занялся внутренним устройством страны, поднятием благосостояния, улучшением судопроизводства; неустанно улучшал военное дело. При первом разделе Польши в 1772 г. получил зап. Пруссию и округ Нетце, в 1779 г. сохранил независимость Баварии, составил немецкий союз князей для защиты отдельных государств Германии от самовольного вмешательства императора. За время царствования увеличил страну на 80 тыс. кв. км и оставил после себя войско в 200 тыс. чел. Замечательный правитель и полководец, философ, друг

Вольтера и затем его противник; также музыкант и композитор. Собрание его сочинений насчитывает 31 том, политическая переписка — 24 тома.

20 - Габсбурги — династия, правившая в Австрии (с 1282 г. герцоги, с 1453 г. эрцгерцоги, с 1804 г. австрийские императоры). Присоединив в 1526 г. Чехию и Венгрию (где титуловались королями) и другие территории, стали монархами обширного многонационального государства (в 1867—1918 Австро-Венгрия). Габсбурги были императорами «Священной Римской империи» (постоянно в 1438—1806, кроме 1742—1745), а также королями Испании (1516—1700). Наиболее известные представители: Карл V, Филипп II (испанский), Мария Терезия, Иосиф II, Франц Иосиф I.

21 - Макиавелли (Макьявелли) Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, историк («История Флоренции», 1520—1525, издана в 1532 г.), писатель (комедия «Мандрагора», 1518, поставлена и издана в 1524 г.). Видел главную причину бедствий Италии в ее политической раздробленности, преодолеть которую способна лишь сильная государственная власть («Государь», 1513, издана в 1532 г., и др.). Ради упрочения государства считал допустимыми любые средства. Отсюда термин «макиавеллизм» для определения политики, пренебрегающей нормами морали. Сменовеховцы часто обращались к его творчеству в том или ином контексте.

22 - Берихард-фон-Бюлов (1849—1929) — германский имперский рейхсканцлер при Вильгельме II. Князь, прусский министр-президент в 1900—1909. В 1897—1900 имперский статс-секретарь иностранных дел. В 1907 добился создания «Готтентотского блока».

23 - Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ, создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики. Ее центральное понятие — развитие — есть характеристика деятельности абсолюта (мирового духа), его сверхвременного движения в области чистой мысли в восходящем ряду все более конкретных категорий (бытие, ничто, становление; качество, количество, мера; сущность, явление, действительность, понятие, объект, идея, завершающаяся абсолютной идеей), его перехода в отчужденное состояние инобытия — в природу, его возвращения к себе в человеке в формах психической деятельности индивида (субъективный дух), сверхиндивидуального «объективного духа» (право, мораль и «нравственность» — семья, гражданское общество, государство) и «абсолютного духа» (искусство, религия, философия как формы самосознания духа). Противоречие — внутренний источник развития, описываемого в виде триады. История — «прогресс духа в сознании свободы», последовательно реализуемый через «дух» отдельных народов. Осуществление демократических требований мыслилось Гегелем в виде компромисса с сословным строем, в рамках конституционной монархии. Основные сочинения: «Феноменология духа», 1807 г.; «Наука логики», части 1—3, 1812—1816 гг.; «Энциклопедия философских наук», 1817 г.; «Основы философии права», 1821 г.; лекции по философии истории, эстетике, философии религии, истории философии (опубликованы посмертно).

24 - Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, представитель философии жизни. Профессор классической филологии Базельского университета (1869—1879). Испытал влияние А. Шопенгауэра и Р. Вагнера. Творческая деятельность Ницше оборвалась в 1889 г. в связи с душевной болезнью. В «Рождении трагедии из духа музыки» (1872) противопоставил два начала бытия — «дионисийское» (жизненно-оргастическое) и «аполлоновское» (созерцательно-упорядочивающее). В сочинениях, написанных в жанре философско-художественной прозы, выступал с анархической критикой культуры, проповедовал эстетический

иммориализм («По ту сторону добра и зла», 1886 г.). В мифе о «сверхчеловеке» индивидуалистический культ сильной личности («Так говорил Заратустра», 1883—1884; «Воля к власти», опубликовано в 1889—1901) сочетался у Ницше с романтическим идеалом «человека будущего».

25 — Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк, иностранный почетный член Петербургской АН (1893). Многочисленные работы по истории Древнего Рима и римскому праву. В главном труде «Римская история» изложил в основном военно-политическую историю Рима до 46 г. до н.э. и дал обзор истории римских провинций. Нобелевская премия по литературе (1902).

26 — Трейчке Теодор (1834—1896) — немецкий историк. Представитель т.н. малогерманцев. Сторонник объединения Германии под гегемонией Пруссии.

27 — Фихте Иогани Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, представитель немецкой классической философии. Профессор Йенского университета (1794—1799), был вынужден оставить его из-за обвинения в атеизме. В «Речах к немецкой нации» (1808) призывал немецкий народ к моральному возрождению и объединению. Профессор (1810) и первый выборный ректор Берлинского университета. Отверг кантовскую «вещь в себе»; центральное понятие «учения о науке» Фихте (цикл сочинений «Наукоучение») — деятельность безличного всеобщего «самосознания», «Я», полагающего себя и свою противоположность — мир объектов, «не-Я». Диалектика бесконечного процесса творческого самополагания «Я» в переработанном виде была воспринята Ф.В. Шеллингом и Г.В.Ф. Гегелем.

28 — Реймер И.Л. — немецкий писатель, пангерманист.

29 — Бернгарди — немецкий генерал, участвующий в сдерживании Брусиловского прорыва 3—22 июня 1916 г.

30 — Оствальд Вильгельм Фридрих (1853—1932) — немецкий физиохимик и философ, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1896). Труды по теории растворов электролитов, химической кинетике и катализу. Положил начало (1889) изданию серии «Классики точных наук»; его работы способствовали становлению науковедения. Нобелевская премия (1909).

31 — Рорбах — немецкий писатель, крайний пангерманист.

32 — Брест-Литовский мир, 3 марта 1918 г. — мирный договор между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, части Белоруссии и Закавказья, получала контрибуцию в 6 млрд. марок. Советская Россия пошла на заключение Брестского мира, чтобы сохранить советскую власть. Группа «левых коммунистов» во главе с Н.И. Бухариным выступила против Брестского мира и была готова «идти на возможность утраты советской власти» во имя интересов международной революции. Договор аннулирован советским правительством 13 ноября 1918 г. после революции в Германии.

33 — Герцог — немецкий писатель, экономист и пангерманист.

34 — *Regis voluntas suprema lex esto* — воля монарха — высший закон (лат.).

35 — Каутский Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала, центрист. В 1883—1917 гг. редактор теоретического журнала германской социал-демократии «Нойе цайт». В 1880-х гг. XIX — нач. XX-го вв. написал ряд марксистских работ. С 1881 г. в Лондоне, где в 1885—1890 гг. тесно сотрудничал с Ф. Энгельсом. С 1905 г. начал выступления против радикальных марксистов (Р. Люксембург и др.). С началом 1-й мировой войны занял пацифистскую позицию. Октябрьский переворот в России встретил враждебно.

36 - Шульце-Геверниц Герхарт (1864—1943) — немецкий экономист. Примыкал к исторической школе в политэкономии. Выступал за установление «социального мира» в обществе. В концентрации финансового могущества видел выражение «организованного капитализма», при котором «промышленное государство» осуществляет сознательное регулирование через банки, подменяющее действие «автоматически функционирующих экономических законов».

37 - Terre à terre — будничный, приземленный (фр.)

38 - Mayflower — майский цветок (англ.).

39 - Великая Хартия Вольностей — грамота, подписанная в 1215 г. английским королем Иоакном Безземельным. Ограничивала (в основном в интересах аристократии) права короля, предоставляла некоторые привилегии рыцарству, верхушке свободного крестьянства, городам. Входит в число действующих актов конституции Великобритании.

40 - Bosses — начальники (англ.).

41 - Блен Джемс Гиллеспи (1830—1893) — американский политик и дипломат. В 1862 г. был избран в Палату председателей США, в 1868 г. стал спикером. Потерпев неудачу в Республиканских президентских компаниях 1876 и 1880 гг., некоторое время Блен служил госсекретарем США при президенте Гарфильде (в т.ч. и в 1881 г.). Выиграв Республиканскую президентскую компанию в 1884 г., уступил Гроверу Кливленду. Во время администрации Б. Харрисона (1889—1893) Блен снова занимал должность госсекретаря США.

42 - Рут Элиу (1845—1937) — американский юрист и государственный деятель. Военный министр США (1899—1904), государственный секретарь (1905—1909). Президент международного Фонда мира имени Карнеги (1910—1924). Труды в области международного арбитража, сотрудничества и мира в Западном полушарии. Нобелевская премия мира (1912).

43 - Монро доктрина — внешнеполитическая программа правительства США, провозглашена в 1823 г. в послании президента США Дж. Монро конгрессу. Декларировала принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга. Доктрина Монро препятствовала приобретению европейскими державами колониальных территорий на Американском континенте и их вмешательству во внутренние дела независимых американских государств.

44 - Джефферсон Томас (1743—1826) — американский просветитель, идеолог демократического направления в период Войны за независимость в Сев. Америке 1775—1783 гг.; автор проекта Декларации независимости США, 3-й президент США (1801—1809), государственный секретарь (1790—1793), вице-президент (1797—1801).

45 - Полк Джеймс Нокс (1795—1849) — 11-й президент США (1845—1849) от Демократической партии. Правительство Полка вело войну против Мексики (1846—1848), захватив свыше половины ее территории, осуществляло вторжения в Колумбию (с 1846).

46 - Дэвис Джефферсон (1808—1889) — президент конфедерации южных рабовладельческих штатов, отделившихся от США и развязавших Гражданскую войну 1861—1865 гг. В 1853—1857 гг. военный министр США.

47 - Грант Улисс Симпсон (1822—1885) — 18-й президент США в 1869—1877 гг., от Республиканской партии, генерал. В Гражданскую войну в США 1861—1865 гг. главнокомандующий армией Севера.

48 - Ольней Ричард (1835—1917) — американский государственный деятель. Родился в Оксфорде, штат Массачусетс. Генеральный прокурор США (1893—1895); госсекретарь США (1895—1897). Во время пограничного спора США с Великобри-

тание по разделу сфер влияния (колонизации) в Венесуэле (1895) сформулировал т.н. Дополнение Ольея к Доктрине Монро, которое обеспечивало права США вмешиваться в международные дела на территории Зап. полушария.

49 - Вудро Вильсон родился в семье пресвитерианского проповедника шотландско-ирландского происхождения. В начале 1880-х гг. В. Вильсон отказался от употребления имени Томас.

50 - Вашингтон Джордж (1732—1799) — 1-й президент США (1789—1797), главнокомандующий армией колонистов в Войне за независимость в Сев. Америке 1775—1783 гг. Председатель Конвента (1787) по выработке Конституции США. Выступал за сохранение Соединенными Штатами нейтралитета в отношении соперничества между европейскими державами. Отказался баллотироваться на президентский пост в третий раз.

51 - Линкольн Авраам (1809—1865) — 16-й президент США (1861—1865), один из организаторов Республиканской партии (1854), выступившей против рабства. В ходе развязанной плантаторами Юга Гражданской войны в США 1861—1865 гг. правительство Линкольна провело ряд демократических преобразований, в частности, приняло законы о гомстедах, об отмене рабства, обеспечило разгром войск южан. Вскоре после избрания президентом на 2-й срок убит южанином.

52 - Теннисон Алфред (1809—1892) — лорд, английский поэт. Цикл поэм «Королевские идиллии» (1859) основан на Артуровских легендах. Драмы «Королева Мария» (1875), «Бекет» (1879). В сентиментальной поэзии Теннисона, отличающейся музыкальностью и живописностью, сильны консервативные тенденции.

53 - Берк Эдмунд (1729—1797) — английский публицист и философ, один из лидеров вигов. Автор памфлетов против Французской революции конца XVIII в.

54 - После победы в России большевиков В. Вильсон выступил с планом мирного урегулирования («Четырнадцать пунктов», январь 1918), видя в нем альтернативу международному влиянию большевизма. Из официального американского комментария к 14 пунктам: «Первым возникает вопрос, является ли русская территория синонимом понятия территории, принадлежавшей прежней Российской империи. Ясно, что это не так, ибо пункт XIII обуславливает независимую Польшу, а это исключает территориальное восстановление империи. То, что признано правильным для поляков, несомненно придется признать правильным и для финнов, литовцев, латышей, а может быть, и для украинцев.» (Архив полковника Хауза. М., 1944. Т. IV. С. 151—153).

55 - Версальский мирный договор 1919 г. — подписан в Версале 28 июня 1919 г. державами-победительницами и Германией. Условия договора были выработаны на Парижской мирной конференции 1919—1920 гг. Не был ратифицирован США.

56 - Эдип — в греческой мифологии сын царя Фив Лая. Эдип по приказанию отца, которому была предсказана гибель от руки сына, был брошен младенцем в горах. Спасенный пастухом, он, сам того не подозревая, убил отца и женился на своей матери, став царем Фив. Узнав, что сбылось предсказание оракула, получившее им в юности, Эдип ослепил себя. Миф об Эдипе разрабатывался в мировой литературе (Софокл).

57 - Толстой Лев Николаевич (1829—1910) — граф, русский писатель, член-корреспондент (1873), почетный академик (1900) Петербургской АН. В 1901 отлучен от Православной церкви. Перед смертью (ст. Астапово) ушел из дома в Ясной Поляне. Родоначальник «толстовства».

58 - Иван IV Грозный (1530—1584) — великий князь «всех Руси» (с 1533), первый русский царь (с 1547), сын Василия III. С конца 1540-х гг. правил с участием Избранной рады. При нем начался созыв Земских соборов, составлен Судебник (1550). Проведены реформы управления и суда (Губная, Земская и другие реформы). В 1565 г. была введена опричнина. При Иване IV установились торговые связи с Англией (1553), создана первая типография в Москве. Покорены Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства. В 1558—1583 гг. велась Ливонская война за выход к Балтийскому морю, началось присоединение Сибири (1581). Внутренняя политика Ивана IV сопровождалась массовыми опалами и казнями, усилением закрепощения крестьян.

59 - Федор Иванович (1557—1598) — последний русский царь из династии Юриковичей (с 1584). Сын Ивана IV. Неспособный к государственной деятельности, предоставил управление страной своему шурину Борису Годунову.

60 - Борис Годунов (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598 г. Выдвинулся во время опричнины; брат жены царя Федора Ивановича и фактический правитель государства при нем. Укреплял центральную власть, опирался на дворянство; усиливал закрепощение крестьян.

61 - Михаил Федорович (1596—1645) — русский царь (с 1613), первый царь из династии Романовых. Принадлежал к старомосковскому нетитулованному боярскому роду, занимавшему видное положение при великокняжеском, а затем царском дворе. В немногих дошедших источниках Михаил Федорович предстает как благодушный, глубоко религиозный человек, склонный к богомольным походам по монастырям. Любимое его занятие — охота, «зверинные ловли». Государственная деятельность его была ограничена слабым здоровьем.

62 - Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь с 1645 г. Сын царя Михаила Федоровича. В правление Алексея Михайловича усилилась центральная власть и оформилось крепостное право (Соборное уложение 1649); воссоединена с Русским государством Украина (1654), возвращены Смоленск, Северная земля и др.; подавлены восстания в Москве, Новгороде, Пскове (1648, 1650, 1662) и Крестьянская война 1670—1671 гг.; произошел раскол русской церкви.

63 - Петр I Великий (1672—1725) — российский царь с 1682 г. (правил с 1689), первый российский император (с 1721), младший сын Алексея Михайловича. Провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, органы высшего государственного контроля и политического сыска; церковь подчинена государству; проведено деление страны на губернии, построена новая столица — Санкт-Петербург). Использовал опыт западноевропейских стран в развитии промышленности, торговли, культуры. Проводил политику меркантилизма (создание мануфактур, металлургических, горных и других заводов, верфей, пристаней, каналов). Возглавлял армию в Азовских походах 1695—1696 гг., Северной войне 1700—1721 гг., Прутском походе 1711 г., Персидском походе 1722—1723 гг. и др.; командовал войсками при взятии Нотебурга (1702), в сражениях при д. Лесная (1708) и под Полтавой (1709). Руководил постройкой флота и созданием регулярной армии. Способствовал упрочению экономического и политического положения дворянства. По инициативе Петра I открыты многие учебные заведения, Академия наук, принята гражданская азбука и т. д. Реформы Петра I проводились жестокими средствами, путем крайнего напряжения материальных и людских сил, угнетения народных масс (подушная подать и др.), что влекло за собой восстания (Стрелецкое 1698, Астраханское 1705—1706, Булавинское 1707—1709 и др.), беспощадно подавлявшиеся правительством. Будучи создателем могущественного абсолютистского государства, добился признания за Россией странами Зап. Европы авторитета великой державы.

64 - Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684—1727) — русская императрица с 1725 г., вторая жена Петра I. Возведена на престол гвардией во главе с А.Д. Меньшиковым, который стал фактическим правителем государства. При ней создан Верховный тайный совет.

65 - Петр III Федорович (1728—1762) — российский император (с 1761), немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. С 1742 г. в России. В 1761 г. заключил мир с Пруссией, что свело на нет результаты побед русских войск в Семилетней войне. Ввел в армии немецкие порядки. Свергнут в результате переворота, организованного его женой Екатериной, убит.

66 - Екатерина II Великая (1729—1796) — российская императрица (с 1762). Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. С 1744 г. — в России. С 1745 г. жена великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, которого свергла с престола (1762), опираясь на гвардию (Г.Г. и А.Г. Орловых и др.). Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель (1763—1764), упразднила гетманство на Украине (1764). Возглавляла Уложенную комиссию 1767—1769 гг. При ней произошла Крестьянская война 1773—1775 гг. Издала Учреждение для управления губернией 1775 г., Жалованную грамоту дворянству 1785 г. и Жалованную грамоту городам 1785 г. При Екатерине II в результате русско-турецких войн 1768—1774 гг., 1787—1791 гг. Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены Сев. Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под российское подданство Вост. Грузию (1783). В период правления Екатерины II осуществлены разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). Переписывалась с Вольтером и другими деятелями французского Просвещения. Автор многих беллетристических, драматургических, публицистических, научно-популярных сочинений, «Записок».

67 - Павел I (1754—1801) — российский император с 1796 г., сын Петра III и Екатерины II. Проводил централизацию и мелочную регламентацию во всех звеньях государственного аппарата; в армии ввел прусские порядки; ограничил дворянские привилегии. Выступал против революционной Франции, но в 1800 г. заключил союз с Бонапартом. Убит заговорщиками-дворянами.

68 - Александр I (1777—1825) — российский император с 1801 г. Старший сын Павла I. В начале правления провел умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М.М. Сперанским. Во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией. В 1805—1807 гг. участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807—1812 гг. временно сблизился с Францией. Вел успешные войны с Турцией (1806—1812) и Швецией (1808—1809). При Александре I к России присоединены территории Вост. Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), Азербайджана (1813), бывшего герцогства Варшавского (1815). После Отечественной войны 1812 г. возглавил в 1813—1814 гг. антифранцузскую коалицию европейских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса 1814—1815 гг. и организаторов Священного союза.

69 - Николай I (1796—1855) — российский император с 1825 г., третий сын императора Павла I, почетный член Петербургской АН (1826). Вступил на престол после внезапной смерти императора Александра I. Подавил восстание декабристов. При Николае I была усилена централизация бюрократического аппарата, создано Третье отделение, составлен свод законов Российской империи, введены новые цензурные уставы (1826, 1828). Получила распространение теория официальной народности. В 1837 г. открыто движение на 1-й в России Царскосельской железной дороге. Были подавлены Польское восстание 1830—1831 гг., революция в Венгрии 1848—1849 гг. Важной стороной внешней политики явился возврат к принципам

Священного союза. В период царствования Николая I Россия участвовала в войнах: Кавказской войне 1817—1864 гг., русско-персидской войне 1826—1828 гг., русско-турецкой войне 1828—1829 гг., Крымской войне 1853—1856 гг.

70 - Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г. Старший сын Николая I. Осуществил отмену крепостного права и провел затем ряд реформ (земская, судебная, военная и т. п.). После Польского восстания 1863—1864 гг. перешел к реакционному внутривосточному курсу. В царствование Александра II завершилось присоединение к России территорий Кавказа (1864), Казахстана (1865), большей части Ср. Азии (1865—1881). С целью усиления влияния на Балканах и помощи национально-освободительному движению славянских народов Россия участвовала в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. На жизнь Александра II был совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879, 1880); убит народолюбцами.

71 - Александр III (1845—1894) — российский император с 1881 г. Второй сын Александра II. В 1-й половине 1880-х гг. осуществил отмену подушной подати, понизил выкупные платежи. Со 2-й половины 1880-х гг. провел «контрреформы». Усилил роль полиции, местной и центральной администрации. В царствование Александра III в основном завершено присоединение к России Ср. Азии (1885), заключен русско-французский союз (1891—1893).

72 - Николай II (1868—1918) — последний российский император (1894—1917), старший сын императора Александра III, почетный член Петербургской АН (1876). Его царствование совпало с быстрым промышленно-экономическим развитием страны. При Николае II Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904—1905 гг., что явилось одной из причин революции 1905—1907 гг., в ходе которой был принят Манифест 17 октября 1905 г., разрешавший создание политических партий и учреждавший Государственную Думу; начала осуществляться Столыпинская аграрная реформа. В 1907 г. Россия стала членом Антанты, в составе которой вступила в 1-ю мировую войну. С августа 1915 г. — верховный главнокомандующий. В ходе Февральской революции 1917 г. 2 марта отрекся от престола. Расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге. В 2000 г. канонизован Русской Православной церковью.

73 - Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 г. или 1865 г., по другим данным, 1872—1916) — крестьянин Тобольской губ., получивший известность «прорицаниями» и «исцелениями». Оказывая помощь больному гемофилией наследнику престола, приобрел неограниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора Николая II. Убит заговорщиками, считавшими влияние Распутина губительным для монархии. По др. версии был случайно убит во время оргии. Придерживался прогерманской ориентации.

74 - Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — предводитель Крестьянской войны 1670—1671 гг., донской казак. В 1662—1663 гг. донской атаман, воевал с крымскими татарами и турками. В 1667 г. с отрядами казачьей гольтыбы совершил походы на Волгу и Яик, в 1668—1669 гг. по Каспийскому морю в Персию. Весной 1670 г. возглавил крестьянскую войну. Выдан казачьим старшиной царскому правительству. Казнен в Москве.

75 - Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742—1775) — предводитель Крестьянского восстания 1773—1775 гг., донской казак, участник Семилетней 1756—1763 гг. и русско-турецкой 1768—1774 гг. войн, хорунжий. Под именем императора Петра III поднял восстание яицких казаков в августе 1773 г. В сентябре 1774 г. заговорщиками выдан властям. Казнен в Москве на Болотной площади.

76 - Герцен Александр Иванович (1812—1870) — публицист, радикальный мыслитель, эмигрант.

77 - «Колокол» — первая русская революционная газета, в 1857—1865 (Лондон) и в 1865—1867 (Женева). Издатели — А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Пользовался большим влиянием во всех сферах российского общества. Имел большое число добровольных корреспондентов в России. В 1868 г. издавался на французском языке с русским приложением.

78 - Новиков Михаил Николаевич (1777—1822) — декабрист, правитель канцелярии Малороссийского генерал-губернатора, масон. Племянник Н.И. Новикова. Один из учредителей «Союза спасения». Республиканец. Автор первого декабристского проекта конституции.

79 - Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — русский мыслитель, писатель. Ода «Вольность» (1783), повесть «Житие Ф.В. Ушакова» (1789), философские сочинения. В главном произведении Радищева — «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) — широкий круг идей русского Просвещения, правдивое, исполненное сочувствия изображение жизни народа, резкое обличение самодержавия и крепостничества. Книга была конфискована и до 1905 г. распространялась в списках. В 1790 г. Радищев был сослан в Сибирь. По возвращении (1797) в своих проектах юридических реформ (1801—1802) вновь выступил за отмену крепостного права; угроза новых репрессий привела его к самоубийству.

80 - Пестель Павел Иванович (1793—1826) — декабрист, полковник, командир Вятского пехотного полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», организатор Тульчинской управы, основатель и директор Южного общества декабристов. Республиканец. Автор «Русской правды». Арестован (по доносу) 13 декабря 1825 г. Повешен 13 июля 1826 г.

81 - Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — российский мыслитель и публицист. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., в 1821 принят в Северное общество декабристов, в 1823—1826 гг. за границей. Философско-исторические взгляды его сложились под влиянием идей католического провиденциализма и социального христианства (Ф. Ламение и др.). В главном сочинении — «Философических письмах» (написаны в 1829—1831) высказал мысли об отлученности России от всемирной истории, о духовном застое и национальном самодовольстве, препятствующих осознанию и исполнению ею предначертанной свыше исторической миссии. За публикацию первого из писем (1836) журнал «Телескоп» был закрыт, а Чаадаев «высочайшим повелением» был объявлен сумасшедшим. В «Апологии сумасшедшего» (1837), написанной в ответ на обвинения, выразил веру в историческую будущность России.

82 - Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — российский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. В 1830-х гг. член кружка Н.С. Станкевича. С 1840 г. за границей, участник Революции 1848—1849 гг. (Париж, Дрезден, Прага). В 1851 г. выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепость, с 1857 г. в сибирской ссылке. В 1861 г. бежал за границу, сотрудничал с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым. Организатор тайного революционного общества «Интернациональное братство» (1864—1865) и «Альянса социалистической демократии» (1868). С 1868 г. член 1-го Интернационала, выступал против К. Маркса и его сторонников, в 1872 г. исключен решением Гаагского конгресса. Труд Бакунина «Государственность и анархия» (1873) оказал большое влияние на развитие народнического движения в России.

83 - Назимов Владимир Иванович (1802—1874) — российский государственный деятель. Начал службу в Преображенском полку и участвовал в турецкой кампании 1828—1829 гг. В 1836 г. назначен состоять при наследнике престола Александре

Николаевиче в должности инструктора по военной части и снижал привязанность своего воспитанника. В 1841 г. Назимов назначен председателем следственной комиссии в Вильне для расследования дела о тайном революционном обществе, якобы возникшем после казни Конарского. В ноябре 1849 г. Назимов назначен попечителем московского учебного округа. В конце 1855 г. он назначен виленским военным губернатором и гродненским, минским и ковенским генерал-губернатором. Деятельность Назимова во время мятежа 1863 г. вызывала двоякую оценку у современников.

84 - Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религиозный философ, писатель, поэт, публицист, один из основоположников славянофильства, член-корреспондент Петербургской АН (1856). Ориентация на восточную патристику (учение о «соборности» и др.) сочеталась у Хомякова с элементами философского романтизма. Выступал с либеральных позиций за отмену крепостного права, смертной казни, за введение свободы слова, печати и др. Стихотворные трагедии «Ермак» (1832) и «Дмитрий Самозванец» (1833), лирические стихотворения, пропущенные гражданским пафосом («России» и др.).

85 - *Taceamus igitur* — итак, будем молчать (лат.).

86 - Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — русский писатель, публицист и литературный критик; поздний славянофил. Считал главной опасностью либерализм с его «омещаниванием» быта и культа всеобщего благополучия, проповедовал «византизм» (церковность, монархизм, сословная иерархия и т. п.) и союз России со странами Востока как охранительное средство от революционных потрясений. Повести, литературно-критические этюды о Л. Н. Толстом, И. С. Тургеневе, Ф. М. Достоевском.

87 - Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — российский критик, историк литературы, поэт, академик Петербургской АН (1847). Стихи на философские и исторические темы. Работы по истории и теории русской поэзии. Вместе с М. П. Погодиным возглавлял журнал «Москвитянин». Теоретик «любомудров», в 1840-е гг. деятель правого крыла славянофильства.

88 - Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — российский историк, общественный деятель, глава московских западников. С 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета. Заложил основы русской медиевистики. Обладал ораторским талантом, глубоко разрабатывал исторические проблемы. Выступал против деспотизма и крепостничества.

89 - Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский литературный критик. Сотрудничал в журналах «Телескоп» (1833—1836), «Отечественные записки» (1839—1846) и «Современник» (1847—1848). Стремился создать литературную критику на почве философской эстетики (в основном под влиянием идей Ф. Шеллинга и Г. Гегеля). Поставив во главу угла критику существующей действительности, разработал принципы натуральной школы — реалистического направления в русской литературе, главой которого считал Н. В. Гоголя. В ежегодных обзорах литературы, в статьях об А. С. Пушкине (11 статей, 1843—1846), М. Ю. Лермонтове и др. давал конкретно-исторический анализ их творчества, раскрывая самобытность, народность, гуманизм, как важнейший критерий художественности их произведений.

90 - Стадкевич Николай Владимирович (1813—1840) — российский общественный деятель, философ, поэт. Главную силу исторического прогресса видел в просвещении, основной задачей русской интеллигенции считал пропаганду идей гуманизма. В 1831 г. организовал литературно-философский кружок. С 1837 г. за границей.

91 - Старев Николай Платонович (1813—1877) — революционер, поэт, публицист, революционер. Друг и соратник А. И. Герцена. В 1831 г. один из организаторов революционного кружка в Московском университете, в 1834—1839 гг. в ссылке.

С 1856 г. эмигрант, один из руководителей Вольной русской типографии в Лондоне, инициатор и редактор «Колокола». Разрабатывал социально-экономическую программу крестьянской революции в духе «русского социализма». Участник подготовки и создания революционного общества «Земля и воля» (1861—1862), агитационно-пропагандистской кампании С.Г. Нечаева (1869—1870). Романтическая лирика, поэмы, в т.ч. «Юмор» (ч. 1—3, опубликована в 1857—1869). Умер в Гривиче близ Лондона, в 1966 г. прах перевезен в Москву на Новодевичье кладбище.

92 - Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — деятель Французской революции, один из руководителей якобинцев. Фактически возглавил в 1793 г. революционное правительство, способствовал казни Людовика XVI, созданию революционного трибунала, казни лидеров жирондистов. Сосредоточил в своих руках практические неограниченную власть; организатор массового террора. Казнен термидорианцами.

93 - Демулен Камиль (1740—1794) — деятель Французской революции конца XVIII в. Журналист. Единомышленник Ж. Дантона, вместе с ним казнен.

94 - Ю.В. Ключников был до 1921 г. кадетом; как и Н.В. Устрялов, и Ю.Н. Потехин.

95 - Константин Павлович (1779—1831) — великий князь, второй сын императора Павла I. Участник походов А.В. Суворова (1799—1800), Отечественной войны 1812 г. С 1814 г. фактический наместник Царства Польского. Тайный отказ Константина от прав на российский престол создал после смерти Александра I обстановку, использованную декабристами для восстания 14 декабря 1825 г.

96 - Маркс Карл (1818—1883) — мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма. Родился в г. Трир (Германия) в семье адвоката. В 1835—1841 гг. учился на юридическом факультете Боннского, затем Берлинского университета. С 1842 г. редактор демократической «Рейнской газеты». В 1843 г. переехал в Париж, где познакомился с представителями социалистического и демократического движения, в 1844 г. началась дружба Маркса с Ф. Энгельсом. В 1845 г. Маркс переехал в Брюссель. В период революционных событий в Европе 1848—1849 гг. активно участвовал в работе международной организации «Союз коммунистов» и вместе с Энгельсом написал ее радикальную программу «Манифест Коммунистической партии» (1848). В июне 1848—мае 1849 гг. Маркс и Энгельс издавали в Кельне «Новую Рейнскую газету» (Маркс — главный редактор). После поражения революции Маркс выехал в Париж, а в августе 1849 г. переехал в Лондон, где прожил до конца жизни. Теоретическую и общественную деятельность продолжал благодаря материальной помощи Энгельса. Маркс был организатором и лидером 1-го Интернационала (1864—1876). В 1867 г. вышел главный труд Маркса — «Капитал» (т. 1); работу над следующими томами Маркс не завершил, их подготовил к изданию Энгельс (т. 2, 1885; т. 3, 1894). В последние годы жизни Маркс активно участвовал в формировании пролетарских партий. В середине 1840-х гг. пронзился переход Маркса от идеализма и революционного демократизма к материализму и коммунизму. Маркс разработал принципы материалистического понимания истории (исторический материализм), теорию «прибавочной стоимости», исследовал развитие капитализма и выдвинул положение о неизбежности его гибели и перехода к коммунизму в результате пролетарской революции. Идеи Маркса оказали значительное влияние на социальную мысль и историю общества в конце XIX—XX вв.

97 - Радомысльский (Зиновьев) Григорий Евсеевич (1883—1936) — российский политический деятель. Участник революции 1905—1907 гг., в октябре 1917 г. выступал против вооруженного восстания. С декабря 1917 г. председатель Петроградского совета. В 1919—1926 гг. председатель Исполкома Коминтерна. В 1923—1924 гг. вместе с И.В. Сталиным и Л.Б. Каменевым боролся против

Л. Д. Троцкого. В 1925 г. на XIV-м съезде ВКП(б) выступил с содокладом, в котором критиковал политический отчет ЦК, сделанный Сталиным; в 1926 г. отстранен от руководства Петроградским советом и Исполкомом Коминтерна. С 1928 ректор Казанского университета, с 1931 г. работал в Наркомпросе РСФСР. Член ЦК партии в 1907—1927 гг.; член Политбюро ЦК в октябре 1917 г. и в 1921—1926 гг. В 1934 г. арестован и осужден на 10 лет по сфальсифицированному делу «Московского центра»; в 1936 г. приговорен к смертной казни по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян.

98 - Циммервальдская (5—8 сентября 1915, Швейцария) — первая международная социалистическая конференция. На ней присутствовало 38 делегатов от социалистов 10 европейских стран: Германии, Франции, Италии, России, Румынии, Болгарии, Швеции, Норвегии, Голландии, Швейцарии. Делегацию ЦК РСДРП возглавлял В.И. Ленин.

Кинтальская (24—30 апреля 1916, Швейцария) — вторая международная социалистическая конференция. На ней присутствовало 43 делегата от социалистов 9 европейских стран: Германии, Франции, Италии, России, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Сербии, Португалии. Кроме того, в качестве гостей были делегат от Англии и делегат секретариата Интернационала молодежи. Делегацию ЦК РСДРП (3 представителя) возглавлял В.И. Ленин.

Конференции способствовали сплочению левых элементов европейской с.-д. в их борьбе против мировой войны, возникновению компартий и Коминтерна.

99 - Кшесинская Матильда (Мария) Феликсовна (1872—1971) — российская актриса балета, педагог. В 1890—1917 гг. в Мариинском театре. Одна из наиболее ярких представительниц русской академической школы. Гастролировала в Европе, в 1911—1912 гг. участвовала в спектаклях Русского балета С.П. Дягилева. С 1920 г. жила и работала в Париже.

100 - Керенский Александр Федорович (1881—1970) — российский политический деятель, премьер-министр России в 1917 г., масон.

101 - Колчак Александр Васильевич (1873—1920) — российский военный начальник, полярный исследователь, гидролог, адмирал (1918). В 1916—1917 гг. командующий Черноморским флотом. Один из организаторов Белого движения в Гражданскую войну. В 1918—1920 гг. Верховный правитель Российского государства; с ноября 1918 г. установил режим военной диктатуры в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, ликвидированный Красной Армией и партизанами. Сам Колчак по постановлению Иркутского Военно-революционного комитета был расстрелян. Ю.В. Ключников до начала 1919 г. работал у Колчака в Омске.

102 - Деникин Антон Иванович (1872—1947) — российский военный деятель, генерал-лейтенант (1916). В 1-ю мировую войну командовал стрелковой бригадой и дивизией, армейским корпусом; в 1917 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего, главнокомандующий Зап. и Юго-Зап. фронтов. Один из руководителей Белого движения; с апреля 1918 г. командующий, с октября 1918 г. главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 г. главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи армии, Туркестанская армия, Черноморский флот); одновременно с января 1920 г. Верховный правитель Российского государства. С апреля 1920 г. в эмиграции. Автор работ по истории русско-японской войны, а также воспоминаний: «Очерки русской смуты» (тт. 1—5, 1921—1923), «Путь русского офицера» (1953—посмертно).

103 - Миллер Евгений Карлович (1867—1937) — генерал-лейтенант (1915). Генерал-губернатор и главнокомандующий Северная область, главный начальник края (1919—1920). С февраля 1920 эмигрант. С 1930 г. председатель «Русского

общевоеинского союза» (РОВС). Похищен и вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву, осужден и расстрелян.

104 - Юденич Николай Николаевич (1862--1933) — генерал от инфантерии (1915), один из руководителей Белого движения на северо-западе России. В 1-ю мировую войну командовал Кавказской армией (1915—1916), успешно провел Эрзурумскую операцию (декабрь 1915—февраль 1916); в апреле—мае 1917 г. главнокомандующий Кавказским фронтом. В Гражданскую войну руководил весенне-летним наступлением 1919 г. белогвардейских войск на Петроград, с июня 1919 г. главнокомандующий белогвардейскими войсками на северо-западе России. После провала «похода на Петроград» (октябрь—ноябрь 1919) с остатками армии отступил в Эстонию. В 1920 г. эмигрировал.

105 - Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — российский экономист, историк, дипломат, политический деятель. Участник сборников «Вехи» (Москва, 1909) и «De profundis» (Москва, 1918). Враг сменовеховства.

106 - Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — барон, один из главных руководителей Белого движения в Гражданскую войну, генерал-лейтенант (1918). В 1918—1919 гг. в Добровольческой армии и Вооруженных силах Юга России, в 1920 г. главком Русской армии, при нем создано «Правительство Юга России». С 1920 г. эмигрант. В 1924—1928 гг. организатор и председатель антисоветского «Русского общевоеинского союза» (РОВС).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из письма Ю.В. Ключникова Н.В. Устрялову.
Париж. Конец марта 1921 г.

Вы помните мой доклад в «Юридическом Обществе» «о программах Мира». Тогда у меня было лишь две программы (империалистическая и федеративная), а для революционной не было никаких подходящих категорий. Да и первые две не были вполне объяснены. Теперь я только что закончил небольшую книгу (в форме 5 лекций), — к сожалению на французском языке, в которой у меня дается очень стройное и правильное, на мой взгляд объяснение и изложение революционной мировой программы и при том не только в плоскости чисто социологической (т.е. с точки зрения социологической механики), но и в плоскости этической. Но, «революционность» моих мыслей не дает мне возможности рассчитывать на французского издателя, а на русского, — здесь, — и тем паче.

Статьи напишу Вам с удовольствием в первую же свободную минуту. Здесь я написал несколько статей, из которых ни одна не появилась. Не могли ли бы Вы каким-нибудь образом устроить на Дальнем Востоке и русский перевод моей книги? Вот оказали бы услугу, если бы я смог получить за него 800—1000 иен! За интересность, серьезность и полезность книги — ручаюсь. В ней около 200,000 букв французского текста. Если паче чаяния, что-либо возможно, телеграфируйте. Подумайте, еще два-три месяца спокойной (?) жизни с этими иенами!!

Из письма Ю.В. Ключникова Н.В. Устрялову.
Париж, 13 июля 1921 г.

Дорогой Николай Васильевич!

Сердечное спасибо Вам за присылку Ваших писем и статей. Они были чрезвычайно дороги мне. На Вас и на мне по-прежнему лежит трудная задача и то, что мы вдвоем несем ее дает массу бодрости и уверенности в себе. Теперь я не одинок: у нас образовался небольшой кружок единомышленников, пока без всякой внешней организации. Это — я, Лукьянов, А.В. Бобрицев-Пушкин (сын) и Садыкер. В бытность в Париже

примкнул к нам Ю.Н. Потехин. Максимум через месяц мы надеемся выпустить сборник наших статей (упомянутые лица, без Садыкера только). Не удивляйтесь, что найдете в числе авторов и Ваше имя. Для нас это чрезвычайно ценно. Однако, я сам еще не знаю, в какой форме окончательно выразится Ваше участие. Первоначальный план был, — что мы с Ю.Н.Потехиным посвящаем Вам статью за нашей двойной подписью. Статья эта была написана Ю.Н. [Потехиным], но его жена — по-видимому, неуравновешенная женщина — взяла и разорвала ее. А вдобавок он уехал, сообщив лишь, что «материалы» скоро мне вышлет. Материалы — это Ваша книга и Ваши статьи. Если он их вышлет, — то мы сделаем, по-видимому, так: напечатаем Ваши новейшие статьи, с каким-нибудь небольшим введением, приветствием Вам и легкой критикой: что мол «редиской» не надо слишком увлекаться, и что дело не в том, чтобы под новым с радостью усмотреть старое, а чтобы добровольно приять новое как новое. На этом мы все сходимся и в этом мой Вам совет: вдумывайтесь больше в смысл происшедшего исторического перелома и воспринимайте его именно как перелом. Я уверен, что Вы все это отлично понимаете. «Блокироваться же» со всякой дребеденью сейчас уже ни к чему: можно вести более азартную игру. Мы — накануне больших выступлений или больших скандалов. И мы их не боимся. Бой все время приходится вести на новых неукрепленных позициях и мы идем и на это. Наша ставка не на те или иные эмигрантские группы — всем им грош цена — а на Россию и эвентуально¹ на серьезные иностранные элементы. И мы уже и теперь знаем, что за нас и Россия и эти иностранные элементы. Подтверждение этому я приводить не имею здесь ни места ни времени, ни особого доверия к почте, но достаточно Вам сослаться на прилагаемую мою статью в просоветском «Пути», который всех принял с распростертыми объятиями. Если Вам попадетс берлинский (уже чисто советский) «Новый Мир», то там часто пишет «Не-коммунист» (А.В. Бобрищев-Пушкин — О.В.), отражающий наше влияние и наши мысли. Знаете, что Вы, я и Лукьянов сейчас всемирно известные в русских кругах люди. С нами очень считаются, а пуще всего нас боятся. Ваш и мой авторитет весьма высок... в Чехии. Я уже Вам телеграфировал про еженедельник. С сентября он начнется непременно, если

¹ Эвентуально -- возможно при случае (от лат. eventus — случай).

не помешают непредвиденные препятствия, всегда возможные при нашей позиции. Если Вам очень мытарно в Харбине, выясните, — могли ли бы Вы получить визу в Англию и немедленно переехать туда, а оттуда, быть может, и во Францию. (Хотя и Англии довольно.) Если можете и у Вас есть средства на Наталию Сергеевну (жена Н.В. Устрялова — О.В.), на Ваш-то переезд я раздобыл бы средств. И тогда телеграфируйте. Я ничего не обещаю, но хотел бы, чтобы Вы заранее были в курсе моей мечты быть вместе с Вами, работать на пользу России и всего мира рука об руку и... вместе доканать наших рамоликов², дураков и подлецов. Кроме проезда я бы обеспечил Вам и первые 3 месяца скромного европейского существования — все разумеется, при условии, что мы не ошибаемся в нашем прогнозе и что правильна и полезна именно наша линия поведения. Итак, подумайте, при случае — рискните и телеграфируйте.

Мои личные материальные дела обещают немного поправиться: заказы на сборник, предложение редактировать еженедельник, сотрудничество в ряде изданий, и выпуск вслед за сборником моей книги — позволят мне существовать в дальнейшем, не нуждаясь. Но долги, долги, долги — за старое время делают то, что мне все еще приходится просить Вас позаботиться о высылке мне гонорара за первую статью и сделать так, чтобы прилагаемый мною мой отзыв о собственной лекции (за подписью С.Л-в, с разрешения Лукьянова) и моя же передача моей речи в кадетском собрании были напечатаны в том или ином виде и я получил бы за них гонорар. В ближайшее время пришлю Вам статью «Кризис Либерализма». Я давал ее в «Последние Новости» — Милюков сказал, что не хочет рекламировать меня, а Рысс взял и позаимствовал у меня и тему и манеру подходить к ней. Ну, Бог им судья. — В «Голосе России» от 24-го мая большая моя статья «На великом историческом перепутьи».

Словом, дорогой, Николай Васильевич, если не прискорбные случайности, от которых мы не застрахованы, благодаря дикости некоторых из наших соотечественников и близорукости иностранцев — придет не сегодня-завтра наш день.

<...>

Пишите, пишите!

Ваш Ю.Ключников.

² Рамолики - от фр. gamollé - близкий к слабоумию человек.

**Из письма Ю.В. Ключникова Н.В. Устрялову.
Париж. 8 ноября 1921 г.**

За сборником появился еженедельник «Смена Вех». К первому его № подоспела Ваша статья «Фрагменты», а в третьем пойдет Ваш ответ Струве из «Новостей Жизни».

**Из письма Ю.В. Ключникова Н.В. Устрялову.
1921 г.**

Одно издательство берет издать мою книгу на английском и немецком языках, но когда-то еще от этого получится что-нибудь. Книгу все читавшие ее находят исключительно интересной и исключительного значения. С русским изданием на западе я не тороплюсь и потому был бы очень не прочь издать его на востоке, особенно ввиду курса. Получили ли Вы мое письмо, в которое вложена программа этой книги и... все та же просьба устроить ее издание (за 700—900 иен).

**Из письма Ю.Н. Потехина Н.В. Устрялову.
5 декабря 1921 г.**

Здесь в Австрии издательское дело исключительно дешево, так как крона стоит страшно низко; во всяком случае стоимость издательства здесь несравнима даже с Чехией и Германией. Поэтому, мы с Юрием Вениаминовичем решили всякие дальнейшие книги печатать в Вене, куда я на этих днях и еду, чтобы сдать в набор книгу Юрия Вениаминовича.

**Из письма Ю.Н. Потехина Н.В. Устрялову.
Альтмюнстер. 22 декабря 1921 г.**

Все это время был жестоко занят; ...в третьих — работали по изданию книги Ключникова «Перед всемирной революцией», для чего специально съездил в Вену, где она сейчас набирается и откуда только позавчера вернулся... <...> В душе, как Вы можете видеть из моих статей в «Смене Вех» неоккоммунизм не менее близок моему мирозерцанию. Я думаю, что «великодержавие» в старом смысле окончательно кончено не только для России, но и для всего мира. Великодержавие новое тесно связано с интернационализмом и именно поэтому Россия — может и станет снова Державой; великой же она осталась.

Книга Ключникова берет всю эту проблему так глубоко и полно, освещает так ярко и оригинально, что, несмотря на некоторую сухость и теоретичность первой части ее — я думаю она будет известна далеко за пределами русской читающей публики. Ее переведут и на немецкий, о чем я буду уже теперь вести переговоры.

Хорошо бы если бы к моменту окончания печатания книги Юрия Вениаминовича, я бы уже получил рукопись от Вас, если только Вы решили последовать моему совету.

**Из открытки Ю.В. Ключникова Н.В. Устрялову.
Генуя, 17 апреля 1922 г.**

Дорогой Николай Васильевич!

<...> События идут с необычайной быстротой. Теперь я в Генуе, в качестве юридического эксперта русской делегации. Первое практическое применение сменовеховства. На днях выходит моя книга «На великом историческом перепутьи» — на русском языке. Посвятил ее Вам. С нетерпением жду момента, когда увидимся. Пишите для «Накануне». Советов не даю, но нужно идти вперед, чтобы не быть в противоречии с настоятельными требованиями истории.

**Из письма Е.Н. Доленга-Грабовской³
Н.В. Устрялову. Берлин, 12 июня 1922 г.**

<...> Юрину книгу: „На великом историческом перепутье“ (кстати сказать, в заголовке книги надпись: „Посвящаю эту книгу дорогому другу Николаю Васильевичу Устрялову“) мы Вам послали уже два раза на случай пропажи, и верно Вы если не тот, то другой экземпляр получите.

Из дневника Н.В.Устрялова. 28 июля 1922 г.

Прочел книжку Ключникова «На великом историческом перепутьи». Хотя она и посвящена мне, но всю ее концепцию я ощущаю, как нечто глубоко мне чуждое, несоизмеримо далекое. Больше того: книга эта просто представляется мне

³ Е.Н. Доленга-Грабовская — жена Ю.В. Ключникова.

неудачной, неинтересной. Основная схема ее, до уродливости искусственная и натянутая, в то же время идейно убога. «Мораль, право, политика — мировой консерватизм, мировой либерализм, мировая революция — Германия Вильгельма, Америка Вильсона, Россия Ленина». Философские рассуждения о морали, праве и политике совершенно кустарны, — даже трудно поверить, что они принадлежат человеку, прошедшему философскую школу. Нигде не дано научного определения морали, термин этот берется в обывательском, да и то каком-то извращенном смысле. Полный произвол царит в операции сочетания Морали с Вильгельмом, Права с Вильсоном (это еще немножко лучше) и Политики с Лениным. Отмечать отдельные натянутости — значило бы перебрать чуть ли не все страницы книги.

Две главы, посвященные «России и Ленину», помимо общих возражений, вызывают и специальные. Особенно поверхностен и, признаться неприятен «очерк» истории русских царей на трех страничках, отдающий уже вовсе бешеным тоном демагогических макулатурных брошюрок. Выдержан банальный интеллигентский стиль в очерке истории русской общественной мысли, при чем миросозерцание К. Леонтьева названо «махровым обскурантизмом». Недурна, правда, характеристика Ленина («Ленин равняется Марксу, помноженному на Бакунина, плюс Пестель»), но она затем превращена в безоговорочный панегирик и абсолютную апологию большевизма в его теории и практике. Тем самым «сменовехизм» превращается в определенное идейное «обращение», совершенно утрачивает самостоятельный облик, становится простым эхом коммунизма. Печальная картина!...

Эта книжка, не скрою, приводит меня в настроение ультра-минорное. И вчера, и вот сегодня положительно ощущается камень на душе. Слово сам написал эту злосчастную книжку!...

Можно ли молчать дальше и делать вид, что все благополучно в сменовеховском королевстве? Не следует ли открыто высказаться по поводу идеологической пропасти, нас разделяющей? Наиболее чуткие люди противоположного берега (напр. Струве) ведь уже явственно ее почувствовали и отметили. Целесообразно ли замалчивать ее и не падет ли тогда ответственность за ключниковские откровения на весь сменовехизм и на меня, как тоже ведь сменовеховца?...

С другой стороны так не хочется демонстрировать наши разногласия, которые вовне не замедлят представить, как

«раскол»... Но ведь если я готов «примириться» с самими большевиками, то с их поздними друзьями типа Ключникова — тем более!

Из письма Ю.Н. Потехина Н.В. Устрялову.
Москва. 23 февраля 1923 г.

К сожалению издать Ваши статьи мне не удалось — последовательно отказали Ладыжников, О. Кирхнер и «Москва», о чем я Вам и писал из Риги. Причиной отказа послужил полный неуспех издания «Великого Исторического Перепутья» — Ю.В. Ключникова.

Из письма Н.В. Устрялова Ю.Н. Потехину.
Харбин. 3 апреля 1923 г.

«Накануне» идеологически абсолютно неинтересный и бескрылый орган. Весьма слабовато и ключниковское «Перепутье».

Из дневника Н.В. Устрялова.
Харбин. 24 августа 1925 г.

Ключников рассказывал, что и первый, пражский сборник готовился в обстановке достаточно неприглядной. Потехин, которому было поручено «препарировать» для сборника мою статью, состряпал будто бы нечто настолько неудачное, что Ключникову самому пришлось всю эту работу проделывать снова. Чахотина нужно было долго уговаривать, убеждать написать статью. Он упирался, торговался за фразы, написал коряво и жалел, что втравился в это предприятие. Бобрищев-Пушкин, если угодно, милый человек, но неврастеник, человек «с зайчиками в мозгах» и спутник вообще весьма ненадежный. Лукьянов, прежде в письмах ко мне столь восхвалявшийся, теперь аттестовывается, как мелкий человек, любитель пожить и выпить, очень скоро после «Смены Вех» клюнувший на удочку заграничной большевистской агентуры.

Словом, компания, наводящая на грустные размышления.
<...>

«Смена Вех» — парижский журнал — издавалась, оказывается, уже под непосредственным контролем большевиков, чувствовавших себя хозяевами журнала.

Большевики давили слева. Усиливаясь, становились все более надменными. Сменовеховский лимон выжимался довольно быстрым темпом.

Сначала к «движению» присматривались, считались с ним. Маклаков даже писал Ключникову; интереснейшее письмо, без имени автора, с ответом адресата было напечатано в одном из первых номеров журнала. Перспективы были благоприятны. И скоро все пошло прахом...

Да, слабые люди. <...>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Коротко об авторе	3
Предисловие	6
Глава 1. На великом историческом перепутье	
I	9
II	17
III	25
IV	30
Глава 2. Мировой консерватизм. — Германия и Вильгельм II	
I	41
II	48
III	62
Глава 3. Мировой либерализм. — Америка и Вильсон	
I	73
II	79
III	92
IV	101
Глава 4. Мировая революция. — Россия и Ленин	
I	110
II	115
III	124
IV	132
Глава 5. Мировая революция. Россия и Ленин (Продолжение)	
I	142
II	158
Примечания	175
Приложение	189

Ключников Юрий Вениаминович
НА ВЕЛИКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРЕПУТЬЕ

Компьютерная верстка *Е.В. Туваевой*
Оформление обложки *О.С. Девятьяровой, А.Л. Павленко*

Подписано в печать 19.10.2005. Формат 84 x 108/32.
Печать офсетная. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс».
Усл. печ. л. 10,39. Тираж 100 экз.

ЗАО «Издательское предприятие «Вузовская книга»
125993, Москва, А-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4.
МАИ, Главный административный корпус, к. 301а.
Т/ф 158-02-35. E-mail: vbook@mai.ru